

Валерий Роот

Судьба карает
безответных, или

ВРАЖЬИ



ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПРОМЕТЕЙ

Валерий Роот

**Судьба карает
безответных, или Враки**

«Прометей»

2016

УДК 821.161.1-312.6
ББК 84 (2Рос=Рус)6

Роот В. В.

Судьба карает безответных, или Враки / В. В. Роот —
«Прометей», 2016

ISBN 978-5-9907453-9-1

Произведение «Судьба карает безответных или Враки», создававшееся с конца 80-х по начало 90-х годов, с постскриптумом от 2002 года, излагает историю одной жизни в советский период второй половины XX века на фоне социума с его достоинствами, недостатками и злоупотреблениями против людей. Это подлинная история, документальный роман, своеобразная исповедь, сопровождаемая авторскими комментариями о временах «перестройки» и Ельцина. В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

УДК 821.161.1-312.6

ББК 84 (2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-9907453-9-1

© Роот В. В., 2016

© Прометей, 2016

Валерий Владимирович Роот

Судьба карает безответных или Враки

© Роот В. В., 2016.

© Издательство «Прометей», 2016.

* * *

Жил-был однажды в бывшей прекрасной советской действительности, а вернее, бесцветно существовал мужчина в расцвете лет, по прозвищу Чужой.

«Что же в этом интересного, если бесцветно?» – возможно, спросит какой-нибудь Товарищ, из «бывших», прекрасных советских. Ну что Вы, уважаемый Товарищ, как можно-с задавать подобные вопросы, ведь каждый человек – это целый мир, и к тому же звучит гордо.

Родился он благополучно, вскоре после Отечественной войны, что само по себе с его стороны было шагом отчаянным и предприятием весьма наглым и неуместным, поскольку, кроме того, что он вообще родился, он еще родился, как сказал поэт, в Дуровой Зыки, да в такое время. Мало того, он умудрился родиться от двух несовместимых начал: от потомка, извиняюсь, тевтонских кровей и от русской нервной почвы (эта порода женщин под благодатной сталинской плеткой эффектно дергалась и охотно принималась за ярких представителей трудового энтузиазма). А с родителей, сами понимаете, взятки в виде налога гладки, на то они и родители, чтоб рожать, – вот и пришлось ему рискнуть и головой работать. Хоть перед ним и стоял вопрос «что делать?», однако, девиз Вождя «мы пойдем другим путем» показался ему несколько странным и неосуществимым. Выхода не было. Только вперед. Но мало и этого: он подгадал, дьявольское отродье, родиться в год свиньи, под знаком скорпиона и, наконец, 13 числа. Во времена, во нравы, а! О боги, о черт подери, кто еще?!

В характере и во внешности у него все было от отца, и это, наверное, сослужило ему плохую службу, несмотря на то, что свойства его натуры, как и у отца, скорее можно было отнести к достоинствам, чем к недостаткам. Упрощенно говоря, он относился к типу что называется «правильного человека», человека естественного. Однако, он всегда чувствовал себя чужаком по духу среди окружающих его людей; по крайней мере, не своим. В дальнейшем он понял, что и отца мало кто понимал и принимал. Как-то мало они оба подходили той среде, в которой выросли.

Пусть Товарищ да не усмотрит здесь намек какой или критику. Боже упаси. Чистосердечно, положи руку на Библию, то бишь на Моральный кодекс строителя коммунизма, излагаю только то, что видел, только то, что чувствовал, только то, что пережил этот мужчина, только то, что точно знаю, а знаю я его, ну прямо как себя...

* * *

Раннее детство. Детский сад. Что совершенно четко осталось в памяти, так это как взрослая молодая тетя, которую он воспринимает вроде в чем-то знакомой, привычной, наверняка воспитательница, сначала ласково играет с ним; потом он уже видит ее лежащей, он не помнит на чем, и он почему-то рядом с ней: на ней надето что-то белое, и этого белого мало. Она держится как-то необычно, может быть, даже скованно и время от времени говорит ему почему-то шепотом, таинственно, иногда каким-то нетерпеливым голосом: «Вон, вон там... Да нет же, вон там» – и показывает на какое-то место на своем теле. Все это привлекает его внимание, он чувствует ее напряжение, которое передается и ему, но не понимает, где это «вон там» и что она ему хочет сказать, перебирает это белое на ней и чувствует, что она мало довольна его бес-

толковостью. Кажется, ее поползновения продолжались недолго: кто-то вошел в помещение, она его остановила, и они затаились. Чужой помнит несколько подобных случаев, в том числе и между детьми, причем порой такие «игры» заходили гораздо дальше. Став взрослым, он понял, что детские сады – это место, очень хорошо подходящее для совращения детей. Знать бы сейчас, какая это дрянь забавлялась им тогда!...

То же раннее детство. Он с отцом идет по улице. Обычная прогулка. Отец держит его за руку. Он тихо идет рядом с отцом, молчаливым и прямым, ставящим ступни тоже прямо, а не наискосок, который кажется ему таким большим и сильным. Ул о ч к а, где они тогда жили, всегда пустынная и тихая, окраина центрального района, полого спускается к реке. В то время в середине улицы деревья росли лишь на ее изгибе, по обе стороны, два старых дерева, для малыша они – великаны. Миновали «проходнушку»... Он не ощутил удара, по крайней мере, не помнит его: что-то навалилось сзади, и он потерял сознание. Потом малыш видит свои руки. Ладони в крови. Он не плачет, но сначала не понимает, что произошло, чья это кровь? Эти красные ладони гипнотизируют его. Отец отводит его домой. Дома паника и женский крик. Это кричит мать. Мать и бабушка суетятся вокруг него. Только тогда он начинает плакать. Отец срывается и убегает куда-то. Как затем выясняется, – разбираться с тем парнем, который на велосипеде сбил малыша. Кажется, отец даже подрался с ним, по крайней мере, забрал на время велосипед. Почему так, если все обошлось без больницы? Да потому, что этот парень нарочно сбил малыша, он был из местной шпаны, которой (и не только ей) не нравилась немецкая фамилия отца и он сам. А ведь отец был, как говорится, свой человек, не враг какой-нибудь, и, вообще, он никогда никому не причинял вреда, – так за что же?

Говорят, счастливые люди – это те, кто свободен от груза воспоминаний. Что ж, жизнь почти научила Чужого забывать всякую гадость, и так действительно легче жить, но вот писать так, конечно, намного труднее, если не стоят перед глазами картины происшедшего. Запоминается ведь чаще всего главное; так уж устроен нормальный человек, что не держится у него постоянно перед глазами во всей красочности то, что отравляло ему жизнь, иначе он просто не смог бы справляться с текущими делами... Так вот, главное он не хочет и не позволит себе забывать, ну а отдельные эпизоды и реминисценции он попробует вызвать в памяти...

Еще в 9-м или 10-м классе школы он написал в домашнем сочинении, которое потом учитель литературы зачитывал перед классом, что «семья – это общество в миниатюре». Писал он его под впечатлением нездоровой обстановки, сложившейся в семье, где он жил у матери (а сочинение было на тему «Господа Головлевы»). Так что, повествуя об «иудовщине», он на самом деле думал о своей семье и стремился выразить всю ту горечь и боль, которые у него тогда накопились (отлично помнит те ощущения), потому и сочинение получилось хорошее. Он, конечно, плохо знал в то время общество и все пытался соединить плохо для него тогда совместимое, и не мог уразуметь: то ли их плохая семья является исключением из хорошего общества, то ли сама мысль неверна?

Из каких-то давних закоулков сознания всплывает картина. Чужой, еще совсем маленький, сидит и горько плачет. Он в незнакомом для него детсадыке, его привели в первый раз и оставили один на один с новым местом. Он давно уже ждет маму и папу, за ним обещали сейчас прийти, но их долго нет, и уже поздно, стемнело. Напротив него незнакомые дети, уже все по кроваткам, и воспитательница, – все с любопытством и как-то бесчеловечно, переговариваясь меж собой, рассматривают его, как смотрят именно на чужого, капризного ребенка. Воспитательница что-то недружелюбно говорит насчет его нытья. Мальчик чутко улавливает нюансы интонаций, от всего происходящего ему тяжело, и он никак не может успокоиться... Повзрослев, он сохранил четкое ощущение, что именно тогда он впервые неосознанно почувствовал что-то неестественное в отношениях в обществе.

Тупик на жизненном пути.
Не избежать, не скрыться, не уйти.
Судьба карает безответных.

Как же это получилось, что он поставлен в настоящее время в такое идиотское положение? И еще, имея высшее образование, работать сторожем в какой-то дыре? Ведь его вольно или невольно пытались срубить под корень, самым худшим и мерзким способом, какой только можно применить у нас и в наше время, в результате чего в социальном плане он и оказался поставленным в ущербное положение, из которого невозможно выбраться. И если внутренне он не поддался, остался несломленным и знает, что он представляет из себя в действительности, то это только благодаря самому себе, своей силе воли, поскольку никто, ни единый человек из тех, кто мог бы помочь ему в этом, не сделал этого. А вот наоборот, подтолкнуть, растоптать, – это было, и не раз. В разных случаях разные люди предавали, отступались или просто самоустраивались, но всегда делая вид, что ничего не случилось, что они не понимают или добросовестно не понимая, настолько люди у нас задурены, и всё вокруг лживо, фальшиво, сбито с толку. Вокруг – ни одной истинно живой души, пустота, и биться приходится тоже с пустотой. А это значит быть неприкаянным, отчужденным.

Вначале, до старшего детсадовского возраста, у мальчика были и мать, и отец. Жили у них в семье еще младший брат и бабушка по материнской линии. Трудно сказать, как сложились бы их отношения, сохранилась семья в полном составе, но в том-то и дело, что сохранить ее было практически невозможно. Отец, по характеру прямой, не весельчак, даже больше молчаливый, энергичный, работающий и добросовестный, не любящий обмана и с чувством собственного достоинства, тактичный. Мать, тоже энергичная и работающая, с характером гораздо более открытым, по-женски эмоциональным, но человек крайне нервный и несдержанный, без чувства меры и такта, без чувства собственного достоинства, натура деспотичная. Это была неестественная пара. В памяти не сохранилось каких-то бурных сцен между родителями, хотя и таковые, конечно, были, но, как видно, главное – это их органическая несовместимость, что и неудивительно при скверном характере матери. «Помнится, например, как мать показывает на окно, выходящее на крышу одноэтажного дворового пристроя к дому (жили они на втором этаже двухэтажного деревянного дома), и страшит нас, что-де пьяный отец вот-вот может забраться через него в квартиру и устроить «бучу», – свидетельствует Чужой, – «драться будет». Какой пьяный, где-там драться, – мы ни разу его таким не видели, да и не пил он вовсе! А если изредка, предположим (Расея-ж), он и мог выпить, то отнюдь не в его характере было буянить». М-да, ма-ма-ня, насчет в окошко вломиться, – это ты чё-то лишка, хотя для тебя это в самую точку: впору родную милицию звать! А что, бывало, и вызывала. Ну, а как же твои малые детки, они ж всему еще верят?! Тем более, что сами позднее не раз карабкались по деревянным массивным воротам двора, благо те были вровень с этим пристроем, и в окошки лазали.

Разводилась она также с помощью милиции, крайне популярным СРОЖЕ (способом российских женщин или строгой рожи): сдав мужа в милицию. Оч-чень удобно, и не требует материальных затрат или самый их минимум.

После развода папаня обосновался в квартире своей матери, державшейся всегда отстраненно от семьи снохи (впрочем, это было взаимно), на улице внизу, тянувшейся вдоль реки и славившейся шпаной еще больше, чем их собственная. Мать Чужого запретила детям видаться с отцом. И странное дело, когда отец, поднимаясь временами по их улице, заставал там Чужого, его старший чувствовал себя скованно с ним, звучали «напрасные слова». Но все-таки два-три раза он у отца гостил...

Как-то, уже школьником, направляется он туда, топает эдак аккуратненько, уже вывернул, сразу после водной колонки, направо на отцову улицу. Еще несколько шагов, – и вдруг

из подворотни, прямо перед ним, выскакивает девчонка. Рыжая, лупоглазая, конопатая. Раскинула руки и не дает пройти. Он шаг в сторону, в обход, – она туда же, он в другую сторону, – она прыг-скок! и загородила дорогу.

– Пусти!

– А, обрындился, мазаный будешь!

Он с удивлением смотрит на нее. Та только бесстыже хлопает ресницами рыжими – и ни с места! Вся ну точно как на пружинах, вот так минуту-другую она им забавлялась: не драться же с девчонкой и не бежать от нее. Еле прорвался через этакое пугало! 1953 год. Умер Сталин. Пятилетний Чужой лицезреет дома, как замороженный, истерические метания матери. Должно быть, это было первое сообщение по радио, потому что она то припускает по комнате-«залу», заломив руки, то останавливается, будто вкопанная, вцепившись в волосы, причитает:

– Ой, что теперь будет, что теперь будет?!.. Ой, все, теперь нас уничтожат, завоюют!

Она была похожа на всполошившуюся курицу, глупо метавшуюся из угла в угол. Этот образ приходит Чужому теперь, а тогда он так не подумал, он только сказал, поскольку такое количество эмоций произвело на него впечатление и ему хотелось успокоить мать:

– Ничего и не случится, найдут другого...

Мать искоса таращит на сына глаза, как на нечто неприятно микроскопическое, но почему-то рассуждающее непонятно о чем, в глазах животное удивление, она даже на время прекращает рыдать...

Ловлю себя на мысли, что неразвитость самосознания, непонимание психологии человека, дикость в этом смысле, привычка к нерассуждающей, безропотной покорности приводит людей к тому, что они не знают, кто они такие есть на самом деле, к извращенному национальному самосознанию, к убогому, невежественному и некомпетентному общественному мнению или к отсутствию его, к тому, что народу подсовывают искаженные ценности, как дураку погремушку. Далее следует пренебрежение и подавление личности и, особенно, индивидуальности человека, его чести и достоинства, неправильное толкование социальных проявлений и устремлений человека, нормы и патологии его поведения, различные правовые злоупотребления и злоупотребления психиатрией. На этой «благодатной» почве любой вышестоящий по отношению к любому нижестоящему, по праву того, у кого больше прав (выходит – он прав), мог бы следовать такому девизу:

Когда я ем, старинная пословица не властна, —
Мол, безобиден я, да глух и нем, —
Поэтому перечить мне опасно:
Любого я сожру пристрастно,
Чтоб неповадно было всем.

Поистине прав был тот, кто сказал: «Лучше вечные опасности, чем рабство, и лучше свобода, чем цветы в хлеву».

Крепче всего засело в памяти (из тех времен, когда они после ухода отца жили вчетвером в семье матери, время начальной школы) то обстоятельство, что мальчику приходилось частенько реветь дома. Теперь, в отсутствии отца, за неимением более подходящего объекта для того, чтобы тешить нервы, чаще всего именно ему доставалось как старшему. Он рос упрямым и способным ребенком. Способным детям должно быть больше позволено, или хотя бы нельзя их постоянно дергать, подавлять их независимость, гордость, надо считаться с их повышенной чувствительностью. Мать, когда ей что-либо не нравилось в поведении старшего (например, он что-то делал по-своему), часто наказывала его тем, что не давала в процессе еды чего-нибудь вкусного, либо просто не давала временно есть, либо унижала его другим способом в зависимости от того, насколько была взвинчена. Бывало, все сидят за столом, а он ревет,

лежа на диване, под отчужденные взгляды родных и не идет кушать, хотя его зовут; ему приходилось дожидаться конца еды и их ухода, чтобы поесть. «Распустил нюни...

А ну его, выкобенивацца!» – говорила бабушка. Один раз особенно в душе остался осадок чего-то жутко несправедливого, он уж не помнит, по какому поводу, но то состояние запечатлелось довольно живо, – знать, задел было сильно, – поскольку в воображении тогда весь день и даже часть ночи как бы мелькали кадры на тему обиженного самолюбия, где мальчик неустанно восстанавливал поправленную справедливость. Ребенку, конечно, это обидно, но удивительнее ему представлялось подлизываться к матери, просить прощения ради лучшего куска, когда он чувствовал свою правоту, или сидеть с ними за одним столом после какой-нибудь несправедливости. С младшим такого, кажется, не случалось. Возможно, он тогда был более покладист, а вернее, слишком мал, чтобы что-либо различать. Крайне неприятно воздействовала также утренняя спешка, эта горячка, доходившая до бешенства. Панический, даже патологический ужас матери перед возможным опозданием ее ли на работу, в школу ли сына заставлял ее неистово тормозить спящего ребенка, а потом носиться по квартире, выпучив глаза: успеть, успеть любой ценой! Такая встряска ранним утром иногда приводила к капризам: хотелось еще поспать, да и вообще было непонятно, зачем так торопиться, словно за тобой гонятся, и почему такой испуг?.. Как мальчишки они часто дрались, и, естественно, больше тумачков перепало младшему. Мать злилась и называла их «немецким отродьем». В такие моменты, да и в другие, когда она выходила из себя (делала она это легко, а порой забывала возвращаться обратно), она воздевала руки к небесам, как бы призывая на помощь бога, в которого верить ей не полагалось, и, потрясая ими и трясясь сама, с упоением изрекала: «Будьте вы три-и-жды прокляты!!!». Впрочем, она это выдавала охотнее в единственном числе, вы понимаете по какому адресу. При желании ее можно было бы ассоциировать с мифической Психеей, но поскольку в нашей идиллии не хватало Эроса, а романтическим образ этой матери не назовешь даже за крупную сумму, от всяческих ассоциаций я категорически отказываюсь и предоставляю это сделать уважаемому Товарищу, ему и суммы в руки... Все происходившее иногда вызывало у старшего озлобление, поэтому он мог не то чтобы выместить его на младшем (эмоции старшего обычно были направлены на своего обидчика), а переборщить в стычках или драках с ним. Заживо воспитанный.

Локковское утверждение насчет «*tabula rasa*» (чистая доска) в чем-то сомнительно. Чужой, например, в раннем детском самоощущении хранил некую важную, значительную для себя внутреннюю свою суть, нечто сидящее в нем генетически; он интуитивно знал, что нельзя, нельзя это утрачивать или изменять и ломать, и противился, отстаивал это.

Болезнь брата... Черноморский курорт... Искусственный спутник Земли... М-да, ну и цепочка! Но вот в сознании эти картинки сцепились, – одна вызывает другую.

Вскоре после развода родителей, где-то через год-два, заболел младший брат. Воспаление мозга, менингит... Чужой-первоклассник только что пришел из школы, когда ему сказали об этом. Брат лежит в постели, перебирает пальцами свои губы, молча и с удивлением смотрит на Чужого. Совсем не похож на заболевшего. Он и раньше часто так же смотрел на Чужого как на старшего.

– А как он болеет?

– Голова у него болит.

– А почему же он тогда не плачет?

Мать была по профессии врач-терапевт. Вот тут-то ей пришлось постараться, кроме непосредственно лечащего врача, чтобы выходить младшего и, по ее словам, спасти ему жизнь. Учитывая невысокий уровень развития нашей медицины, вполне правдоподобными кажутся утверждения матери, что она сыграла в выздоровлении сына главную роль. В первое же лето после выздоровления младшего она поехала с ним на Черноморское побережье Кавказа. Чужой с теткой (которая жила рядом с ними, в квартире под тем же номером, отделенной от их квар-

тиры) тогда провожали их в дорогу. В следующую поездку туда же, в конце 50-х годов, мать взяла с собой обоих сыновей, потому что старший очень просился. Ну, что сказать? Для детей любое новое место интересно. Там было красиво, тепло, длинные очереди в столовые, теснота в снятой для ночлега комнатухе и свертхтеснота на лазурном море. Когда они пошли темным южным вечером в кино на «Седьмое путешествие Синдбада», они увидели летящий в небе спутник... Чернейшее, с яркими звездами южное небо, – и одна из звезд, не особенно спеша, пересекает его свод, словно сорвалась и падает, падает, как в замедленной съемке, и не может упасть. «...Звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас». Нравственный закон?

Тетка, сестра матери, жившая с ними через стенку, была существом одиноким. Нет, вначале муж у нее был, – помнится, сцеплялся как-то раньше с отцом, когда семьи ссорились. Обычно он, набивая табаком папиросы в широкой картонной коробке, угрюмо-сочувственно смотрел на Чужого. Но уже к середине учебы старшего в начальной школе она или прогнала его или он сам ушел. Сестры жили в вечной грызне. Тетка была человеком совершенно иного, нежели мать, склада: уравновешенная, рассудочная с налетом лиричности, в молодости – красавица. Мальчик часто засматривался на ее большой фотопортрет, висевший на стене ее квартиры. Как у женщины жизнь у нее не сложилась, детей не было. Поэтому она не могла не тянуться к детям сестры, да и с сестрой она, наверное, могла бы по своему характеру поладить, но та отталкивала ее от себя, а детям внушала, что тетка вредная и испортила ей жизнь. Старшего всегда влекло к тетке, она была ему ближе других по духу, там ему было интереснее из-за атмосферы доверительного общения.

Каким ты был, таким ты и остался:
Орел степной, казак лихой.
Зачем, зачем ты снова повстречался,
Зачем нарушил мой покой...

Солнце скрылось за горою,
Затуманились речные перекаты,
А дорогою степною
Шли с войны домой советские солдаты...

Темные ивы склонились к пруду,
Месяц плывет над водой.
Там у границы стоит на посту
Ночью боец молодой...

Тетка обычно ставила на свой патефон эти старые пластинки, когда он приходил. Вспоминала молодость. Что-то рассказывала из своей жизни, давала умные советы. Матери все это не нравилось, ей казалось, что та строит ей козни. Если не всегда, то чаще всего она запрещала ходить к тетке, также как запрещала видиться с отцом, категорически и всегда. «Опять у нее был?! Ведь она ведьма, сглазить может! Вон недавно наворожила...» Когда нет собственного положительного влияния на ребенка, нет умения его понять, влияние постороннее уже подзрительно. А ведь, говорят, взаимопонимание – это любовь. Но детское сердце не обманешь, он инстинктивно чувствовал в словах матери примитивную чушь, если не бред. Тетка же постоянно приходила мирить поссорившихся в семье у матери, она понимала Чужого. Чем больше Чужой думает о тетке, тем больше склоняется к мысли, что она пострадала в жизни просто как хороший человек.

В начальной школе ему было нетрудно, как и в дальнейшей учебе. Первый раз в школу его отводила тетка. На уроках первая учительница – приземистая, мужиковатого телосложе-

ния, с кавалерийскими ногами – имела обыкновение шустро перемещаться по классу и с добродушным лицом и смешинкой в глазах лупить по головам детишек длиннющей линейкой. Однажды она прихватила и его, хотя он был тихим, «домашним» ребенком. Вероятно, пропустить кого-нибудь представлялось ей невероятным. Он сидел за одной партой со спокойным косоглазым мальчишкой и порой старался понять, на него тот смотрит или нет, отчего уже оба периодически косили друг на друга глазами, зырк, зырк... Обычно Чужой не доучивал до конца устные домашние задания, но на уроках, хоть и боялся, отвечал так, что флегматичная вторая учительница останавливала, этого самого конца не дожидаясь: «Хорошо! Ты, конечно, знаешь, молодец...», и он испытывал большое облегчение. Там ему нравились две девочки, одна смуглая, худощавая и чуть голенастая, как Софи Лорен в детстве, другая – коренастая. Обе статные, строгие и казавшиеся жутко неприступными.

Он уже давно посещал школу, а мать все еще водила их в баню в женское отделение. В старом деревянном доме, где они жили, не только помыться нельзя было, но отсутствовали водопровод и даже вначале – газ; печь топилась дровами («Ведь печьку надо топить, печьку!» – подтаскивал поленья Чужой, когда был малышом), на кухне стояли керосинка и примус, туалет – сенях. Постепенно ему становилось в бане не по себе среди женщин. Если раньше он не замечал их тел, то теперь начал присматриваться. Иногда на грани сознания появлялось нечто смутное из жизни детсада: белое пятно той полураздетой женщины, тянущей его к себе; девчонки и мальчишки подсматривают друг у друга «глупости», одна нахальная девчонка сдирает с мальчишек под кроватками штаны. Появлялось неприятное ощущение, будто что-то в нем реагирует, отзывается на все это, возникало чувство стыда за то, что он голый среди особ другого пола. Иногда женщины делали матери замечание: «А-я-яй, мальчик-то у Вас уже большой. В каком он классе?» Но матери так, вероятно, было удобнее, быстрее. Позднее она стала брать номера для семейных...

Вот он идет в школу, располагавшуюся неподалеку, в двух кварталах от дома. Как правило, он добирался туда без происшествий, ему удавалось избегать мальчишеских драк. На этот раз на подходе к школе он заметил стайку пацанов и еще на расстоянии почувствовал что-то в них агрессивное, хотя по их виду это определить было трудно. Чужой приближается к школьным воротам, поглядывая на них, они смотрят на него, одновременно сбоку под углом идя с ним на сближение. Ощущение опасности возрастает, а его прямая уже превращается в дугу; таким образом, когда они бегом бросаются на него, он уже готов к финишному рывку и удирает удачно... Пацаны могли быть из «дома чекистов», но возможно и другое: его могли попытаться побить просто потому, что он был «примерным» и тихоней. На той улице, где Чужой вырос, по-настоящему своими становились только грубые, хулиганистые натуры, матершинники. Мат служил визитной карточкой этого мирка, а духовность или чья-то тонкая душевная организация вызывали подозрительность, котиrowались невысоко и считались странностями. Чужой подростком стеснялся материться. Напротив его дома находился многоквартирный и большой для деревеннозастроенной улицы дом из красного кирпича, в просторечье называвшийся «каменный дом». Как раз там проживали местные подростковые и мальчишеские «короли». Собиравшаяся вокруг них уличная «кодла» совсем необязательно была шпаной: в основном полухулиганистые, влиятельные своей силой ребята, которые, в зависимости от различных обстоятельств в их судьбах, либо становились преступниками, либо, так или иначе, выходили в обычные, среднесерые люди. Ничего особенного. Это с нами бывает. Из нас выходят люди и, как говорится, пропадают в неизвестном направлении. Вообще-то, как в последнее время выясняется, тут никуда не денешься, старую русскую сказку переиначили, какое направление ни изберешь – все одно: налево пойдешь – в преступники попадешь, направо пойдешь – ой! опять в преступники, прямо пойдешь... Ну разве что прямо в преступники... А может быть, так даже в чем-то честнее? По крайней мере, не стоять на перепутье и не ломать голову. Не пойман – не вор. А те-то, которые, не выходя в люди, – сразу в преступники, они-то разве

не прямы в своих действиях? Так какая же разница? Что вы говорите? Ах да, миль пардон, я дико извиняюсь. Все условия и все удобства, разные там премии, надбавки, по-рублю-прибавки, прогрессивки, заодно нечаянно прогресс двинем небрежно так одной левой. Это имеет легальная преступность. Не считая того, чего она не хотела бы, чтобы у нее считали. Да, обычная преступность в этом плане поотстала, что с нее возьмешь – дурной вкус! Однако, куда ж это я забрался? Вон и Товарищ пальцем грозит: «Что, в зону захотел или в психушку?!» Всё, молчу, молчу... «Полковник», «Шарабан», «Косой» и компания. Известные на улице клички. Были и другие. Внутри кодлы, кроме обмена новостями, общение заключалось в рассказывании примитивных анекдотов, игре в карты (частенько на деньги), выпивке. Каменный дом не ладил с домом чекистов, носившим такое имя по причине проживания в нем в свое время сотрудников МВД. Между их представителями постоянно происходили стычки. Если били тех или других поодиночке, по два, по три, потом приходила вся кодла, чтобы отомстить. Практиковались простые кулачные драки, если не считать уголовных преступлений. Вначале Чужой был маловат, затем, в самые подростковые годы, обитал в суворовском училище, в отдалении от своей улицы. Как бы то ни было, компанейским он не являлся, держался особняком, независимо и неприкаянно. Но как все-таки психологически трудно это было! Стоишь иногда среди кодлы и, хоть больше не хочешь, а не уходишь, как привязанный. И не из страха какого-то, – из-за непостижимой зависимости от ребят кодлы, вплоть до чувства неудобства перед ними. Как правило, его не трогали, но и своим он не считался.

Однажды после 4-го класса, летом, он сидел за письменным столом и делал какое-то домашнее задание, полученное на каникулы, когда пришла мать. В ней чувствовалось хорошее настроение. Она сказала, что намерена отдать его в суворовское училище:

так не будет драк дома. Под общее настроение он стал качаться на стуле и спросил: «А кино там будут показывать?» Получив утвердительный ответ, он с легкостью любопытного ребенка согласился туда пойти. Мать была явно довольна: наконец-то ей станет полегче, она сможет заняться только своим младшим, а у старшего все пойдет само собой, все-таки пристроен куда-никуда. Такое впечатление, будто он был неудобен матери, в чем-то ей мешал, ну вот не получалось из него безвольной игрушки! В действительности же мальчик был из тех, кому, наоборот, нужно семейное воспитание. Правда, не в подобной семье, но именно семейное. Собственно, каким детям оно не нужно? Кстати, может быть, не случайно позднее отменили прием в училище с 5-го класса и стали брать только старшеклассников?

Будучи в суворовском училище, мальчик, еще не созная, но уже предчувствуя порочную заикленность людей в невежественной, слишком плотной социальности и инстинктивно стремясь к независимости, к цельности своего внутреннего мира, не любил беспрерывно находиться в одном и том же кругу чужих лиц и органически стремился к природе, другой порочности.

На приемных экзаменах в 1-ю роту (5-й класс) училища преподаватель русского языка с интересом выслушал ответы на вопросы, подозвал другого педагога, обратив его внимание на похвальные ответы кандидата в суворовцы. Затем они вместе спрашивали еще, каждый раз с удовольствием отмечая чувство языка.

Суворовское училище! Какое противоречивое переплетение событий: внутреннего распорядка жизни, отлаженного, как хороший механизм; детских характеров, не укладывающихся в его прокрустово ложе; изменений, происходящих во взрослеющих детях, в том, что затем может (или нет?) стать духовностью! Здесь впервые его душа, под номером 17, начала трудиться. Далее ему присвоили личный номер 19. Сколько же в детстве происходило открытий в душе, сколько было важных состояний духа, которые сознательно или неосознанно становились установками на будущее! Чего стоит, например, одна лишь детская потребность не столько даже одухотворить, облагородить все материальное, все живое, сколько наделить все это жизнерадостной, жизнеутверждающей, животворной силой! Тут неизвестно, что от чего

идет; может быть, в детстве страстно хочется, наоборот, материализовать все мечты, фантазии, надежды. Главное другое – эти две стороны жизни, материальная и духовная, тут идут неразрывно, от юной свежести, новизны и силы ощущений и впечатлений. Созидательное, творческое переплетение фантазии и реальности защищает от черной пустоты безучастности, равнодушия, этих черных дыр души, которые, в отличие от аналогичных астрономических объектов, имеющих массу, действительно разрушающе пусты и куда может согнуться весь реальный мир. Поэтому во взрослой жизни важно не столько то, чем занят человек, материальным накопительством или каким-либо морализированием, сколько следующее: сумел ли он сохранить в своей душе ребенка, этого бога-созидателя, уберечь его от неблагоприятного окружения?

Как-то в первые дни, когда поступившие определились, но еще не были распределены по отделениям роты и слонялись сами по себе в помещении, незнакомые или малознакомые меж собой, некоторые начали играть, шалить, подшучивать друг над другом. Один белобрысый мальчишка играл-играл с Чужим, потом стал надоедливо приставать, просто от нечего делать, цеплялся, толкал его, сидя на кровати без матраса, там же, где сидел Чужой. Наш Чужой отталкивал-отталкивал его, потом, взъярившись, недолго думая и не говоря ни слова, ка-ак двинет об стену, рядом с которой кровать стояла! Падая назад, мальчишка ударился затылком о батарею парового отопления, – нашему герою на миг даже страшно стало. Тот же вроде не пострадал; не знаю, башка ли у него из того же материала, что и батарея, сделана была или еще что. Только азарт задиристости у мальчишки моментально иссяк, он встал и с обиженным видом ушел, опасливо поглядывая на казавшегося еще недавно безобидным партнера по игре. С тех пор он больше не отваживался заигрывать с Чужим, а тем более задевать его, да и другие, бывало, осторожничали.

Два первых года начинающий суворовец ходил в круглых отличниках. Черная с красным и черно-белая с красным форма, белые перчатки невольно как бы даже возвышали его в собственных глазах. Много ли надо детскому сознанию. Но главное, конечно, заключалось не в этом. Новая обстановка, культивируемая там строгая дисциплина заставляли послушного в обществе ребенка быть собранным, а воспринимал и усваивал он все быстро, – вот и оказался на хорошем счету. Так и пошло. К первому в тех стенах Новому Году он «дослужился» до кремлевской елки. Тогда было принято поощрять отличников поездкой в Москву на новогоднюю елку, по одному представителю от младших рот. Таким образом, в самый разгар либерального царствования Хрущева Чужой, как неуместное малолетнее воплощение одной из самых консервативных, застывших групп общества, сподобился быть кратковременно представлен ко двору, умудрился быть в числе избранных. О, это было особое событие! После поездки ему даже пришлось отчитываться, живописать все перипетии этого действия по очереди во всех трех отделениях роты.

По дороге в Москву в поезде, выбивавшем колесами, как ему казалось, барабанную дробь, он больше читал книгу, чем разговаривал со своими попутчиками, одновременно прислушиваясь к их болтовне. Читал «Спартак» Джованьоли, где неприятное впечатление произвело то непостижимое тогда обстоятельство, что красивая знатная римлянка, кроме благородной любви к доблестному Спартаку, питала еще какие-то чувства к испорченному во всех смыслах Сулле. Читал про римлянку, а представлял на ее месте одну из девочек, ехавших в их группе на елку. Сам был, естественно, Спартаком. Каким-то образом эта девочка, центр внимания мальчишеской компании, далеко не идеал красоты, заставила работать воображение, и начал возникать смутный, бесплотный, идеализированный женский образ, отвлеченно-обобщенный, который с тех пор часто посещал его как символ высшего совершенства, чего-то неземного, без повода и по конкретным поводам, когда в дальнейшей жизни он встречал девушек или женщин, нравившихся ему и вносивших новые штрихи в неизменный образ добродетели, который еще долгое время представлялся ему, – он просто испытывал в этом потребность, – воплощением женской сути и к которому он всей душой стремился:

Что этот частый сон, проникновенный, странный, значит
О незнакомой женщине любимой? И ко мне ее любовь
не нема;

И неизменной каждый раз проходит темой
Она, и разная, и та же, все понимает, чувств ко мне не прячет.

Она все понимает, голос сердца моего прозрачен
Лишь для нее, увы! и быть перестает проблемой

Лишь для нее одной; лицо мое горячее и бледное
Она одна умеет освежить плачем.

Какая же она? Шатенка ли, блондинка или рыжая? – Не знаю.
А имя? Его звонким я и нежным вспоминаю,
Как имена любимых, Жизнь которых разлучит.

Взгляд у нее похож на взгляд статуи.
Голос же, далекий, важный и спокойный так звучит,
Как дорогие голоса, которые уже не обрету я.

* * *

О женщина, с любовью теплою, и ласковой, и тонкой,
Каштановая прядь, нежна, задумчива, всегда вас понимает
И в лоб целует иногда вас, как ребенка!

(Поль Верлен. Здесь и далее перевод мой.)

Огромна и красива главная елка в Георгиевском зале Кремля, хороши подарки, но еще красочней предстало зрелище в ледовом Дворце спорта: вырастающая прямо из льда, будто хрустальная, белоснежно-сверкающая искусственная елка. Невероятных размеров кремлевский буфет. Все воздействовало на неискушенное воображение и являло собой нечто символически необязательное, непринужденно-свободное после казарменной зажатости. От избытка впечатлений и полноты чувств он купил в одном из московских магазинов... детский столярный набор. Только потому, что набор в маленьком деревянном футляре красиво смотрелся.

Почему у нас кругом столько негативных явлений, во всех областях жизни, столько по сути дела несчастных людей, так мало людей духовно здоровых, так много разбитых или неблагополучных семей, откуда этот поголовный уход в алкоголизм, что это за мужеподобное поведение женщин и почему так недостойна роль мужчин в обществе и так распространено их третиование, откуда нервозность в наших отношениях, почему мы так насторожены и тотально недоверчивы, и готовы в любой момент сорваться или, наоборот, замкнуться в равнодушии, почему так нетерпимы ко всему нестандартному и непохожему, почему действует принцип «один за всех, но все на одного», почему, наконец, в опале элементарная порядочность, а хамье – на коне? Ведь мы привыкли к таким вещам и многого в обычной жизни не замечаем. (Я и дальше буду делать подобные отступления социального или философского плана. Это все вопросы риторические, даже и ответа-то не требующие или требующие ответа далеко не одно-

значного. Но я все-таки пытаюсь на них ответить, чтобы показать ту эпоху глазами нашего героя, уже взрослого и под конец здешней истории, хотя время уже после его истории, описанной в этом произведении, могло и изменить его мировоззрение). Да потому все это происходит, что мы себе не хозяева (как сказал один из героев фильма Никиты Михалкова: «...с хозяевами мы разделились еще в 17-м году»), мы не принадлежим себе, а живем по законам казармы. Хоть Чужой, повзрослев, испытал и другие, несравнимо более мерзкие способы принуждения, казарменные порядки суворовского училища, того детского периода, напоминают ему порядки общественного принуждения именно тем, что применялись они, как правило, спокойно, с холодным безразличием, как будто ничего другого и быть-то не могло, а еще тем, что именно с детства в нас вырабатывают привычку беспрекословно подчиняться, не рассуждать, жить для того, чтобы служить (работать), а не наоборот, как подобало бы. Там, в суворовском, или «кадетке», как они именовали заведение в своем кругу, большинство детей до 8-го класса не любили дисциплину и хотели уйти «на гражданку». Вольно или невольно дисциплину нарушали, «сачковали» (например, натирали солью подмышками, чтобы локально повысить температуру и лечь в санчасть), а иногда нарочно «доводили» офицеров-воспитателей или их помощников, сержантский состав. Один из сержантов, прибалт эстонец, самый безобидный из всех воспитателей, бывших в их роте. Стеснительный силач. Всегда старался с уважением строить отношения с подопечными, был с ними добр и никогда не повышал голоса. Но именно ему больше всех доставалось от ребят... Он появляется в спальне, где они находятся, что-то спрашивает, рассказывает о жизни в своих краях, о том, что там популярна тяжелая атлетика. Подходит к одной из кроватей и, взявшись мизинцем за металлическую спинку, легко отрывает кровать от пола, довольно тяжелую для подъема даже всей рукой. Казалось бы, расположение ребят обеспечено. Но вот он приходит в следующий раз. Кое-кто из ребят доставил ему неприятности.

– Товарищи суворовцы! Некоторые из вас не выполнили обещанного. Мы же договаривались. Надо сделать.

Говорит вежливо, тихо, но с акцентом, не чисто по-русски. Вместо ответа – передразнивания со стороны мальчишек, некоторые сзади него изображают походку штангиста, строят рожи. Злоупотребляют его добротой. Почему?! К тому времени их уже досыта накормили дисциплиной. С ними были жестки – они стали жесткими с воспитателями. Неважно, хороший или плохой, для них любой военный воспитатель стал символом довлеющей над ними силы, и они пользовались любой возможностью отыграться, пусть беспощадно, пусть даже подлю... Сержант молча, только лицо чуть вздрагивает, подходит к одной из кроватей и, взявшись мизинцем за металлическую спинку, легко отрывает кровать от пола, довольно долго держит ее на весу... потом отпускает палец... Ему приходилось быть под перекрестным огнем «кадетов» и своих непосредственных командиров.

Одна из сцен перед отбоем. Все кадеты по постелям, как по коням, в весьма игривом настроении. Входит офицер-воспитатель № 1, майор. Настроение резко падает. Он не такой добрый, как сержант. Правда, между нами, не такой уж злой, но им кажется чрезмерно строгим (любимое его словечко по отношению к любому нарушителю – «нерадивый»). Майор тушит свет и выходит. В спальне раздаются свист и гиканье. Скачки по кроватям и на кроватях. Входит майор, зажигает свет:

– Сейчас же прекратите, не то буду наказывать, – он пока спокоен. – Давайте, ребята, лучше по-хорошему, не будем ссориться.

После его ухода десяток-другой секунд затишья, – и возникает гул; он нарастает, переходит в ор, в воздухе порхают подушки, – скачки победоносно продолжают! Вдруг:

– Шухар, ребя, воспитатель! – крайний к двери в спальню кадет чует офицерский топот в коридоре. Но поздно. Влетает майор. Про свет и говорить нечего, майор накален и полыхает, как громовержец, – да будет свет! Стоп-кадр.

– Суворовец А-н, наряд вне очереди на кухню! Суворовцы П-к, С-в, К-в – то же самое! Суворовец Ч-о, два наряда вне очереди! Суворовцы Д-н, П-в не пойдут в увольнение! Все, отбой, и не вздумайте продолжать, – накажу все отделение!

Теперь, похоже, возымело действие:

– Ой, ну и дурак! Так психует! – утихомириваясь, комментируют меж собой происходящее «отходящие ко сну» кадеты. – А вначале притворялся, что будет за нас.

Сценка на утренней поверке суворовцев, в коридоре. Входит офицер-воспитатель № 2, – тьфу черт, опять майор (новый, только что назначенный)! Осмотрев классную комнату и спальню отделения, он остался недоволен чистотой и порядком в них; кровати, по его мнению, плохо заправлены и еще что-то там неправильно. Решив сходу дать им жару, он приказал построиться: заодно и познакомится с ребятами.

– Отделение, становись! – командует дневальный. Этот раньше других столкнулся с новым майором и теперь подтверждает слухи, распространившиеся перед сменой власти; строясь, кадеты перешептываются: «У-у, зверь... в той роте вон чего делал...» Раз так – посмотрим! Строй, к неожиданности нового начальства, получается на удивление оригинально расположенным во всех измерениях, неким сломанным веером, причем не только фронтально, но и по высоте: мальчики нарочно стояли не по росту, а кое-кто еще и на полусогнутых.

– Отставить! Разойдись! – начальство немного смущено. – По порядку становись!

Выстроив и подравняв их, воспитатель начинает переключку, но к концу ее тихо свирепеет, и его вполне понимают, так как выяснить, кто есть кто, нелегко: некоторые, одни и те же, отзываются на разные фамилии, меняя голос. Он кидает, уже не сдерживаясь:

– Ваша фамилия, суворовец!... Ваша!... И вон того еще... Каждому по наряду вне очереди, драить сортир! – (И уже всем) – Вообще, запомните: вы пока всего-навсего потребители!

Ладно, поехали дальше:

– В спальне не порядок в следующих тумбочках (перечисляет). Кто их хозяйка?

Молчание. Дураков и желающих нет. Желающих чистить туалет. Но майор, несмотря на то, что чуть-чуть выбит из колеи, верен себе: виновные находятся:

– За недисциплинированное поведение и беспорядок в помещении все отделение лишается увольнения в следующий выходной.

«Вот это да-а! Ну-у, прежний воспитатель лучше был...», решило после этого отделение, – и детский военный конфликт, для начала, был обеспечен.

Что в суворовском училище можно считать полезным, так это физическую подготовку воспитанников. Чужой крепким физическим здоровьем никогда не отличался, но в спортивных секциях участвовал, правда, без особых успехов... Военная подготовка; обычные школьные уроки; вечерами самоподготовка... Не знаю, что может быть глупее ходьбы строем, особенно марширований на плацу! Все, наверное, видели суворовцев на праздничных военных парадах. Черная форма, белые перчатки, четкий шаг. Ну что ж, там, на парадах, конечно, красиво. Он сам на них иногда испытывал подъем духа по случаю торжественной обстановки, но ведь торжества в нашей жизни бывают редко. Маршируем же мы подозрительно часто. Ох уж этот плац! Раз, два, левой, – левой, – левой! В этом есть что-то бесконечно родное и близкое, знакомое, поэтическое, вы не находите? Выше ногу, тяните носок!левой, – левой! За-апевай! Чужой, поскольку обладал слухом, тогда ходил в запевалах вместе с несколькими ребятами:

Сегодня мы не на параде,
Мы к коммунизму на пути...

У местного отделенческого «короля» среди кадетов со слухом было хуже, и его больше занимали вопросы житейские. На марше он, совершенно не воодушевляясь наступающим «светлым будущим», при котором мы вот-вот должны были жить, и предвосхищая сегодняш-

ние крупные недостатки в «мелочах быта», любил потихоньку напевать, принаравливая буги-вуги к ритму марша:

Как у нас, как у нас
Поломался унитаз.
Все соседи в страшном горе
Всполошились в коридоре...

Так вот, в то время Чужой с концертами агитбригады и по селам ездил... Теперь он больше в запевалах не числится. Отбили охоту. И по военной стезе не пошел. Но у Чужого такое впечатление, что он с тех пор всю жизнь так и ходит в строю, а стоит ему сделать шаг в сторону, поступить нестандартно, да даже просто пойти не в ногу, оставаясь в этом театрально-абсурдном строю, его сразу же бьют «по башке больно».

В качестве успевающего ученика он помогал отстающим. На самоподготовке суворовцев за столом учителя обычно сидел офицер-воспитатель и добрым цербером, читая что-нибудь, следил, чтобы они не отвлекались и не отлучались. Чужой «натаскивал» одного бестолкового парнишку, и его, бывало, злила его непонятливость. Они выходят вдвоем к доске; один старается объяснить по нескольку раз геометрическую задачу, другой, стараясь, не понимает; первому непонятно, как можно не понять, он раздражается, отчего второй окончательно тупеет. Намучился он с ним основательно, а результата не было. Однако, если оценивать в целом, неизвестно почему, но на вечерних самоподготовках царила полуидиллическая атмосфера; возможно, наш герой просто проецировал на окружающее свое настроение, ведь ему нравилась творческая самостоятельность.

Однажды их построили и повели проверять слух «на предмет отбора в хор». Очень молодая женщина со смазливym личиком наигрывала на пианино простенькие мелодии или отдельные звуки и заставляла их, по-одному, повторять голосом. Эта картинка вытаскивает на поверхность другие, времен детсада...

Мальши, среди которых и Чужой, старательно тянут нехитрую песенку вслед за тетей. Тетя сидит за пианино и усердно открывает рот, но открывает она его непередаваемо, прямо-таки до неприличия некрасиво, вытягивая вперед и выворачивая губы, отчего Чужой больше занят тем, что замороженно смотрит на тетины губы, чем поет. Эти губы, их явное несоответствие музыке оскорбляют его эстетическое чувство, и ему неприятно...

Он, маленький, стоит на стуле или табурете и поет перед коллегами матери. Душа его слегка трепещет, а те в упор хлещут ее плотскими взглядами...

Его, в числе нескольких других суворовцев, взяли в хор, причем предложили вместе с двумя-тремя ребятами быть запевалой. Он согласился скорее потому, что привык отвечать «есть!», чем по причине горячего желания петь. Потерзав их несколько дней своими привередливыми требованиями, женщина-музыкантша разучила с ними кое-какие патриотические песни для поездки с агитбригадой по районам республики. В этом «походе за культуру», как его называли ответственные лица, в агитбригаде, в хоре большую часть составляли городские школьники. Вся компания, этот временный военно-гражданский союз, разъезжала со своими самодеятельными «художествами» по селам на автобусе, да кажется, не на одном. Тогда у Союза (здесь с заглавной буквы) был, видать, какой-то конфликт с Турцией, поскольку гвоздем их программы, везде заколачивавшемся на бис, являлся номер, долженствовавший пародировать турецкую агрессивность. Он исполнялся считавшимся весьма артистичным молодым капитаном, который в стиле рок-н-ролла раскованно, выражая разнузданность и тут же одновременно презрение к турецкой экспансии и к рок-н-роллу, танцевал и пел:

Эх, в Стамбул из Константинополя

Плыли морем турки Мефистофеля...

Дальнейшие строки не помню. Почему турки принадлежали Мефистофелю, было совершенно непонятно, мрак поэзии. Иногда он буквально корячился на сцене, и именно это, а не политический смысл исполняемого, вызывало ржание в зале. Кое-кто из кадетов с мальчишеским ехидством строил догадки насчет отношений капитана с музыкантшей, намекая на их любовную связь, когда, например, она при переездах один-два раза выходила из автобуса, потому что ее укачивало. Ну а что же они? Они в разных залах пели торжественные песни, порой в таких тесных комнатушках, что и повернуться было негде, и дышать нечем, да еще жарил яркий сценический свет.

Чужой, стоя на сцене или выходя на нее, впервые тогда стал испытывать приливы внутреннего жара: словно поднимаются изнутри и постепенно захлестывают волны смущения или стыда. Но это совсем не обязательно было смущение или стыд, хотя внешне проявлялось иногда в подобной форме. Это индивидуальное физиологическое свойство его организма, связанное с особенностями функционирования кровеносных сосудов. Вяземский отмечал, что свойство краснеть – это детский и женский признак сильной впечатлительности, причем не только у детей и женщин.

Иногда после каких-то неприятных моментов выступления, в моменты безделья, или после обедов под открытым небом, благо, дело было летом, или когда просто не хотелось, надоедало быть среди одних и тех же, в общем-то, не близких ему людей, Чужой уединялся недалеко в лесу и бродил там некоторое время. Природа умиротворяла, примиряла с самим собой, – это ощущение не ново:

Это дрожь всех лесов
От объятий-дуновений,
Это у деревьев в сени
Хор легчайших голосов.

* * *

Душа вот эта, что стремится
В дремотной жалобе излиться,
Не правда ли, наша она?
Твоя, скажи, и моя?
Песнь робкая струится чья
Теплым вечером, чуть слышна?

(Поль Верлен)

Но она же и возбуждала чувственность, сексуальность, он ясно ощущал. Примерно, как у Есенина:

Так и хочется руки сомкнуть
Над древесными бедрами ив.

Хотелось как можно дольше оставаться с ней наедине, и только сознание невозможности подобных вещей мешало... В их агитбригаде находился располагавший к себе взрослый парень «с гражданки», имевший отношение к художественной самодеятельности. В дороге,

разместившись на заднем сиденье автобуса среди них, суворовцев, он начинал увлекательные повествования о своих любовных похождениях, «весомо, грубо, зримо», но на вполне сносном литературном языке. Так что в рамки «похода за культуру» укладывался.

Даже сейчас, когда мы все стали смелыми и раскрепощенными в вопросах секса (пишут, намеренно появилась профессиональная проституция), опять-таки в действительности почти ничего у нас не делается, по крайней мере, в области полового воспитания, что пошло бы на пользу человеку (а разве когда-нибудь что-нибудь вообще у нас было человеческое, в правильном понимании этого слова, то есть естественно приспособленное к человеку?). А в то время и говорить-то на эту тему было не принято, видите ли, необходимо (все то же словечко!) соблюдать фарисейские приличия! А где фарисейство, ханжество – там и порок... Вон он, всплыл в памяти, будто из черных глубин дантовой воронки ада, тот зверь, но другого предназначения и в другом, пренеприятнейшем обличье раннего подростка с черноморского побережья, ясным, солнечным днем. По-моему, у Данте зверь был с раздвоенным жалящим хвостом, тщательно им скрываемым. Этот же тип, наоборот, принародно и поминутно вытаскивал свое жало напоказ, прямо на ходу самозабвенно увлекшись этим и собственноручно его раздваивая. Наверное, это был какой-нибудь придурок, но дело-то в том, что, при всей дикости этой картины, в России с ее ханжеской раздвоенностью плотского и духовного, при нашей двойной морали, есть такая склонность в быту тайком потакать или подталкивать к чему-нибудь гаденькому, а потом принять вид своей непричастности и с тайным любопытством, всей своей мордой нарисовав собственную непогрешимость и отвращение, лицеизреть происходящее. Существует негласный культ гаденького и культ дураков. В любой области жизни. Достаточно сказать: что-то многовато сейчас практически здоровых людей в психбольницах, тогда как изрядное количество одних и тех же ярко выраженных больных постоянно, изо дня в день и из года в год, видишь на улицах, и никто их вроде бы не трогает. В детстве Чужой, проходя мимо здания старого цирка, всегда видел напротив, на одном и том же месте, странное человеческое существо, вызывавшее жалость. Оно сидело на земле по-турецки, скрестив ноги, в руках держало шапку для милостыни и, глядя на каждого прохожего, тянуло и цедило, заикаясь, на одной монотонной ноте непрерывное «нэ-нэ-нэ-нэ-нэ-нэ...»... Суворовское училище не представляло исключения. Наоборот, для закрытых учебных заведений, по сравнению с обычными, более характерно процветание порока. Что касается Чужого, у него совпало: просыпалась, по-настоящему, плоть, пробуждалась душа. Событие, похоже, естественное в своем совпадении: сексуальность, как минимум в начале, доставляет определенные неудобства, порой мучения, что дает толчок мысли. Жизнь в училище тем временем продолжалась. Воспитанники уже были близки к 8-му классу, после которого обычно происходило отсеивание в их составе: кого по здоровью, кого по другим причинам. С гражданки от «шпаков» приходили известия, порой от отчисленных ранее из училища бывших суворовцев, нарушителей дисциплины. Выдержки из их писем офицеры любили зачитывать в назидание перед строем, не забывая каждый раз пугать ужасами гражданской жизни и отмечать несравнимую надежность военных порядков. На этих гипнотических сеансах по моральному закаливанию виделся где-то там, за стенами заведения, возникающий вселенский хаос, бессмысленное движение, непонятные перемены, словно не существовало незыблемого «самого передового в мире образа жизни», и доносился слабый голос раскаявшихся грешников, умолявших, по словам офицеров, о возвращении. Не знаю, какова надежность военных порядков, но вот каменная стена вокруг училища стояла настоящая, без всяких сравнительно-предположительных «как». Ну ладно, по выходным устраивались танцы, на которые в училище сбегались девочки из шустрых и которые хоть так скрашивали иногородним суворовцам замкнутость казенного быта. Девушкам льстила военная форма. Но ведь в увольнение пускали редко, по выходным, городских – «с ночевой», иногородних – «без ночевой», и очень просто могли не пустить за малейшую провинность. Кадеты сбегали «в самоволку», рискуя быть строго наказанными и чаще всего оказываясь наказанными. Зато среди

персонала училища встречались изредка развратные девочки. Сия нечистая сила водилась в местах гигиеничных: на кухне, в столовой. Одна из них, помнится, искушала подростков во время питания в столовой. Входила скользкой походкой, украдчивыми движениями меняла кое-кому пустые тарелки на полные, хотя для раздачи назначались дежурные из суворовцев; масляные глаза, двусмысленные шуточки, такие же стишки пошлые: «Идет кадет с кадеткою, помахивает веткою...», – далее что-то либо циничное, либо нецензурное, а то и нерифмованный мат. Другая однажды резко изменила походку: ее ноги почему-то двигались на подозрительном расстоянии друг от друга, будто боясь соприкоснуться. Чужой этому не придал бы значения, если бы его не ткнули в бок, указав на нее, и не объяснили, почему... где, когда, с кем и откуда такая оперативная информация.

Думаю сейчас о том, сколько же надо было передумать всего, пережить, перечувствовать, с чем столкнуться и чего насмотреться, сколько этапов духовного развития пройти и остаться верным своей душе, этому богу, чтобы дойти до нынешнего состояния духа! Какого? Об этом позже. Вот только как все это передать, – прав был Шатобриан! – как зафиксировать множество ускользающих моментов жизни, мыслей, наметков мыслей, ощущений, нюансов, теней? Но пока о другом.

Как-то после отбоя, Чужой начал уже засыпать, его кровать вдруг стала вибрировать, переходя на тряску. Она была сдвоена с кроватью соседа, и колебания поступали оттуда. Чужой сразу догадался, в чем дело. В закрытых учебных заведениях тайный порок не в диковинку. Он повернулся к соседу, тем самым помешав ему, и тот поделился с ним своими откровениями, рассказав, что в отделении, откуда его недавно перевели, «все этим занимаются». Любопытно и странно было слышать об этих вещах от другого, кое-что действительно было откровением. Мальчишкам, за небольшим исключением, их трудно миновать. У них, по сравнению с девчонками, чувственность начинается резче и острее, эротические ощущения и переживания – слаще. Возрастной ажиотаж. Кадеты тогда взаимно открывали разные сексуальные истории. Чужому, например, казалась необычайной и невероятной одновременная интимная связь нескольких пар его ровесников (парней и девчонок), которая, если верить рассказчику, произошла в знакомой ему обычной школе, на отдыхе за городом. А в процессе уроков в училище, когда их вели преподаватели-женщины, находились типчики, пытавшиеся при помощи системы зеркалац залезть к ним под подол. Все, что касалось женщин, все сальности на их счет Чужому казались чем-то нехорошим, постыдным, вроде богохульства, ему не верилось, он их принимал с трудом и склонен был по своей натуре идеализировать женщин. В нем жил тот гармоничный женский образ-мечта, и в несовершенстве своей природы, в схватке плотского и духовного, он стремился к более совершенному. Он, конечно, выдумал себе идеал, человек вообще по своей природе несовершенен и алогичен, и больше это касается женщин, но в половом отношении он все-таки почувствовал их превосходство, совершенство, их незримое влияние даже в их отсутствие. Если бы ему тогда сказали, что женщины – существа плотоядные и, по сравнению с мужчинами, более хищные, он бы не поверил еще и потому, что внешне они выглядели полной противоположностью. Ему казалось, что слабости половой страсти неприличны и им неведомы... Забавно было посмотреть, как этот тихоня вел себя на училищных танцах. Он мог с гусарской лихостью (правда, кратковременной) вначале пройти перед рядом девчонок, словно устраивая им дерзкий взгляд, порой заодно преодолевая смущение. Затем наскоком, но очень вежливо приглашал выбранную девицу и молча танцевал с ней, не отличаясь большими навыками и умением в этом деле...

Не знаю, как у кого, а у Чужого, во время дремотного состояния, например, при засыпании или на выходе из сна, а может быть и во сне, появлялся, бывало, движущийся, изменяющий геометрическую форму и массу зрительный предобраз, ощущение, своеобразная гравитационная волна, возникающая из ничего, из невесомой далекой точки, взрывающаяся ускорением

туго закрученного по касательной к нему объемного завитка и уходящая тяжелой гроздью обратно, в ничто:

Колоколов звон разлился,
В завитки закрученный тугие,
Будто звуки флейты дорогие —
В молочны будто небеса.

(П. Верлен)

Странно, во сне это было нечто тяжелое, неизбежно материальное, как воплощение рока или земных оков, на низкой ноте. У Верлена же в четверостишии иная, мажорная тональность и довольно высокий регистр звучания. Общее здесь – только математическая очерченность и музыкальное, хоть и разноплановое, сопровождение. И все-таки стих хорошо укладывается в ощущение во сне. Вероятно, совпадает манера чувствовать... Гораздо чаще Чужой совершал знакомые многим полеты во сне. Взлетал он легко, почему-то как в плавании стилем брасс, и парил на разных высотах и в помещении, и на воле. Интересная деталь: обычно ему в полете приходилось преодолевать натянутые электропровода, множество проводов, а то и лететь параллельно им, прямо как у Булгакова, но в то время он не мог, как вы понимаете, знать бул-гаковское произведение. Зато когда удавалось преодолеть этот барьер, взмывал он выше облаков, то ли демон, то ли бог, и никогда не падал.

Я не знаю, почему
Душа моя в своем горе
Крылом бьет беспокойным и стремительным и реет над морем.
У самых волн, на просторе,
Все родное сердцу моему
Моя любовь лелеет трепетным крылом. Почему? Почему?

Чайкой в полете печальном —
Мысль моя вслед за волнами,
Под небесными всеми ветрами,
Вслед за приливом наклон намечая, —
Чайка в полете печальном.

От солнца хмелея,
От свободы полной,
Она инстинктивно стремится сквозь эту безбрежность волн.
Летний бриз вольный
На потоке, что алеет,
Качает ее нежно в полусне, стающем все милее.

Иногда она кричит так грустно,
Что тревожит дальний летчика полет,
И ныряет, и по воле вод плывет,
И крылом совсем уставшим безыскусно
Вверх взмывает, и кричит так грустно!

Я не знаю, почему
Душа моя в своем горе

Крылом бьет беспокойным и стремительным и реет над морем.
У самых волн, на просторе,
Все родное сердцу моему
Моя любовь лелеет трепетным крылом. Почему? Почему?

(П. Верлен)

Не во время ли жизни сына в училище, в период отсутствия его в доме, в душе матери происходило его отторжение, совершалось окончательное духовное отчуждение между ними? Во всяком случае, когда он приходил домой в увольнение, он не чувствовал там радостной атмосферы, праздника, особой близости в отношениях, которые он, направляясь туда, ожидал, а иногда очень хотел бы встретить. Позднее, в старших классах школы, Чужой однажды впервые четко, осознанно ощутил глухое непонимание, духовную слепоту и отчужденность матери. Младшего брата он сейчас, ретроспективно, почти совсем не видит в те короткие посещения: брат выглядел инертным, несколько заторможенным. Единственным красочным пятном дома зрится цветастая, красного оттенка рубаха двоюродного брата-стиляги. Стиляга – совсем не в ругательном значении, просто та мода одеваться и держаться на удивление гармонировала с его индивидуальностью и внешностью. Ему можно было бы оставаться стильгай даже стариком. Его штиблетом на толстенной подошве, слетевшим с ноги, один раз невесть с чего надумалось Чужому перебрасываться, поиграть около ворот с младшим братом. А двоюродному, молодому пареньку-старшекласснику, в тот день пришлось чуть похромать по улице без одного штиблета, неловко переваливаясь вслед за двумя мальчишками, дразнившими его. Кажется, он обиделся... Могут спросить: неужели не было хороших, приятных сторон или эпизодов в их семье тогда или раньше? Были немного, наверное, но ведь не запомнились, а это ли не лучшее доказательство их призрачности, эфемерности, нехарактерности для семьи? Известно, мы помним только лучшее о прошлом. Вот послушайте, несмотря на то, что темы разные:

В старом парке, холодном, заброшенном,
Проходили две тени из прошлого.

Их губы бесплотны и мертвы глаза,
И еле слышные звучат их голоса.

В старом парке, холодном, заброшенном,
Две души мечтали о прошлом.

– Ты помнишь наше прежнее здесь ликование?
– Зачем Вы говорите? К чему воспоминания?

– Все также бьется твое сердце при упоминаньи обо мне?
Во сне меня ты продолжаешь видеть? – Нет.

– Дни чудные счастья такого, что выразить сложно,
Когда мы сливались устами! – Возможно.

– Как ясно было небо, а надежда – огромной!
– Надежда исчезла, разбитая, в небе темном.

Так шли они среди дикого овса,
И только ночь могла их слышать голоса.

(П. Верлен)

Ну разве что бабушка, мягкий по натуре человек. Лишь в ней жила немая задушевность к старшему внуку, наряду, правда, с более присущими ей мещанскими повадками. Ее быстрое участие в нем во время его визитов из суворовского заключалось, скорее, просто в молчаливо-общительном присутствии. Впрочем, она была одинаково равна со всеми, в чем сквозило некое безразличие, и не понимала современную ей жизнь. Круг ее интересов ограничивался бытовыми вопросами. О тетке я уже говорил, но она была обособлена, существовала как бы отдельно: результат пагубной семейной обстановки. Кто сказал, что трудные подростки – только те, кто ведет себя ершисто, хулиганит, плохо учится и т. п.? Трудный подросток – это подросток с трудной внутренней жизнью, обусловленной внешними или внутренними объективными обстоятельствами. Он может быть и со сложным внутренним миром, не обязательно с примитивным. Он может испытывать какие-то физические наплады в своем организме, именно физические, а не психические. И тогда ему нужно участие со стороны близкого человека, понимание, возможно совет, поскольку со своими ровесниками не всем поделишься. Правда, не всем поделишься и с близким человеком, но, во-первых, тогда это уже не близкий человек, а во-вторых, тем более тогда нужны чуткость и такт. Иначе возникают различные нелепости, недоразумения, в том числе и бытовые. Иначе подростку приходится защищаться, бороться за свою духовную независимость, потому что в душу ему начинают лезть, не снимая калош. Так было у Чужого.

На их улице рядом с ними жила семья евреев мелкочиновничьего уровня, которая, в общем, вполне вписывалась в мещанское окружение, но, в частности, была, естественно, лучше его низкого, вульгарного пошиба. Семья как семья. Папаша носил модную по тем временам лысину а-ля Хрущев и размашистой походкой моряка регулярно ходил на работу, раскачивая портфелем. Сын, примерно ровесник Чужого, с местной шпаной, естественно, не связывался, ни-ни, такое даже представить невозможно... Чужой поддерживал поверхностные отношения с двумя-тремя спокойными подростками-соседями (а отношения доверительные – как можно, он же в форме!). Когда он появлялся по воскресеньям белоперчаточным бельмом в глазах всей улицы, ребята-соседи с подозрением смотрели на него. Сын своего отца, прослышав, что Чужой отличник, несколько раз все пытался определить уровень его знаний и всячески подчеркивал, показывая трудные задачки из учебника, что сам, будучи на год старше, знает больше... Недавно, под конец брежневского правления, выяснилось, что он еще и умеет больше, так как оказался в заключении.

Лето. Чужой лежит, а вернее, плывет на раскладушке по комнате в теплом воздухе южных краев. У него высокая температура. Сильная простуда. Откуда же непривычное, сладостное чувство блаженства? Никогда он не думал и в будущем уже не испытает, что так приятно болеть. Может быть, потому, что за ним ухаживают? Забыты все полудетские обиды и подростковые печали. Теплые волны укачивают, навевают калейдоскоп быстрых, легких, легко улетающих мыслей, убаюкивают. И еще раз чувство легкости, легкости необыкновенной, душевной свежести, – при выздоровлении. Это еще одна поездка. Период, когда мать раскатывала по югам, стремилась туда... В один из отпусков она вернулась с новым папой. Папа этот получился ненадолго. Разве он мог знать, что в новом для него доме ему живо закатят скандал с истерикой? Ехал он, южанин, в более прохладные края, а попал в горячую атмосферу. Ему не понравилось, как младший брат что-то там начал «дурью маяться», он взял да и запер его в сених, в туалете. Мать, конечно, в крик, иначе она не умеет. Новый муж сообразил, что это не Юг, это гораздо жарче, и вскоре уехал. «Я не допущу, чтоб детям было плохо!» – восклицала мать, имея в виду случай с младшим. А чего допустил, что, собственно, такое ужасное позволил себе этот мужчина? С другой стороны, не будь стычки, что, неродной отец – разве не плохо? Потом был муж с Севера (но способ все тот же, южный). Как человек основательный

он даже не стал дожидаться инцидента, исчез сразу: ну собирался в края более теплые, но не настолько же! «Я не выходила замуж ради вас», – будет говорить впоследствии мать детям. Хорошо, ради чего тогда были все попытки? Хотя как раз в этом ее понять можно. Ведь не ради временного пользования, с любовниками отношения строятся иначе.

В училище полагалось назначать дневальных, которые по-очереди стояли на посту, сменяя друг друга днем и ночью. Почти полночи выдержать стоя, конечно, тяжело для детей, и они иногда пытались тем или иным способом устроить себе отдых, как-нибудь отвлечься с поста на время или поспать, хотя офицеры проводили ночные проверки и провинившихся наказывали. Чужой, смотря по настроению и состоянию, пробовал когда стоять, когда уйти посидеть за партой в рядом расположенный класс... Неимоверно томительно и медленно цедится ночное время бодрствования, наводящее на размышления и дрему. – Почему он есть именно он? А кто-то другой – это другой. Почему вот эта внешность, это тело, а не иные? А если бы он был в ком-то другом, как бы он думал, как бы себя сознавал? И мог ли он быть другим? Почему сознание единственности, вот он есть – и все тут, такого не было и больше уже не будет? Неужели его могло не быть, его с его душой? Что будет, когда его уже не будет? Вопросы без ответа... Кажется, вот-вот выясняется, сейчас еще немного подумает, и что-нибудь придет в голову, вот сейчас, сейчас... Возникают ощущения. Вечности времени. Самого процесса существования, на элементарном уровне; на уровне процессов, протекающих в организме; ощущение почти каждой клеткой; вплоть до возникновения понятия «существование», вплоть до ощущения его бессмысленности. Но во сто крат бессмысленней представляются теперь ночные дежурства детей. Подобного рода тренировки едва ли шли им на пользу, гораздо лучше они подошли бы им взрослым. Клонит в сон... Однако самым неприятным был момент, когда тебя резко будили среди ночи для того, чтобы ты заступил на пост. Дальше постепенно расходишься и даже находишь что-то романтическое в том, что ты не спишь, как все, но вот это насильственное резкое пробуждение прямо выбивало из колеи... Иногда он принимался читать. Он хорошо помнит, что решил как-то раз не тратить время даром. Когда он читал «Детство, отрочество, юность» Толстого, то прибегал к ночным «посиделкам» в соседней классной комнате. Книга заставляла думать. В ее герое были некоторые родственные ему свойства природы. Правда, смешили «телячьи нежности»

героя. Импонировали его самобытность и неординарность, оригинальные объяснения его поведения; напряженная внутренняя жизнь, которая перекликалась с внутренней жизнью Чужого; тонкая духовность, душевные переживания, даже кое-какая закомплексованность: есть, значит, или, по крайней мере, были люди, близкие ему по духу! Значит, он не одинок в этом мире! Но одновременно – тревожный симптом: такие люди, они в художественных произведениях, а в реальной жизни он их не знал, не видел, не встречал, то есть в лучшем случае, если они не выдуманы, они разбросаны во времени и пространстве, песчинки Вселенной. Это как в одной очень красивой, поразительной научной гипотезе по физике, описанной в каком-то журнале: если что-либо случается в какой-нибудь точке Вселенной, если как бы дернуть за невидимую нить, это моментально отзывается в любой другой ее точке, будто немой крик. Если продолжить сопоставление, – это как внутриатомные слабые взаимодействия, которые в действительности самые сильные, как духовная связь. Нематериальная или почти нематериальная, невидимая, как поле, гармоничная паутинка, пронизывающая мироздание. Почти ирреальная в своей призрачности, словно неведомое поле, словно шестое чувство. Ну, а в быту Чужой словно предчувствовал: в будущей своей жизни в этой стране самодуров он постоянно сталкивается с карикатурно-уродливыми, нравственно извращенными человеческими душами, просто черт знает что! Когда он ведет себя совершенно естественно или пытается поступать и общаться по-человечески, получается только хуже; его принимают за кого угодно, но только не за того, кто он есть; в определенные важные периоды его жизни ему попадаются прямо-таки музейные экземпляры ядовитых людей, нервной распушенности! Нет, не проходит нынче

вариант Николеньки Иртеньева или «Подростка прежних времен» Ф. Мориака, их просто не понимают, могут «не заметить» на улице при встрече, зато какой-нибудь пустоголовый болтун – всегда на виду, потому что он «свой, простой, рубаха-парень». В детстве, прочитав «Вечера на хуторе близ Диканьки», он дома долго представлял, как с наступлением сумерек из дальней темной комнатки вылезают разные чудища, скелеты; ему становилось чаще всего страшно, и он убегал на кухню, где возилась бабушка. Знать бы ему тогда, что не сказочных, а вполне реальных, в человеческом облике чудищ надо бояться и быть готовым отразить их людоедские поползновения! Но это в будущей жизни. А пока, во время ночного чтения, он про себя отметил, что человек – существо сложное и имеет право быть непохожим на других. Нестандартность – это норма, можно было бы добавить ныне.

Есенин, Маяковский. Особого впечатления поэзия в те годы не производит, разве что отдельные строфы, да еще потому, что он знает о самоубийстве Есенина. Вдруг ему говорят, что тот, кто написал «... В этой жизни умереть не ново. Сделать жизнь – значительно трудней», сам тоже покончил самоубийством. Это его поражает. Маяковский? Такой мужественный, такие энергичные, громкие стихи... Застрелился? Почему? Почему! Да разве, исполняя школьную программу, преподаватель скажет на уроках, что поэта просто-напросто затравили! Потом уже, намного позднее, Чужой установил суть, но догадываться-то он догадывался. В те минуты он лишь выдал: «Да, жизнь – вещь сложная». Та, у кого он получил сведения, преподаватель французского языка, очень симпатичная женщина, всегда умевшая по-человечески, живо и интересно побеседовать, невольно располагала к себе. Нахалитэй вопийант. Как вы думаете, что это такое? Это русское «вопиющее нахальство», произнесенное по моделям французского словообразования, с французскими окончаниями. Ее изобретение. Но даже если не она лично автор, то все равно говорила им она, ей выражение нравилось. Им оно нравилось ужасно, повторяли его постоянно. Тоже способ обучения. У нее были всегда веселые, насмешливые, увлекающие за собой глаза, и все в ее живом облике выдавало настоящую француженку не только по профессии, но и по происхождению. Она осталась самым, пожалуй, по-человечески запомнившимся преподавателем из всех и научила многому, а ведь ничего особенного не делала, так, легкий стиль. Она была против полной милитаризации жизни воспитанников, против казарменной сухости и жесткости: «Они же дети, нужно знать, что с каждым из них происходит, нельзя всех – под одну гребенку». «Ничего!» – ответствовали ей офицеры. И то правда, какое уж тут «чего», когда эта самая милитаризация распространилась на все общество, по крайней мере, на область труда! Чужому хотелось поговорить с ней о личном, особенно когда бывало тяжело на душе, хотелось душевного, а может быть женского тепла, разобраться кое в чем, – мало ли проблем у подрастающего человека, да еще прибавилось половое влечение, – но это ему казалось неудобным и не по-мужски... Забредя в кабинет иностранного языка, где она с другой учительницей проверяет тетради, он садится около них, пытается выразить свое, но вместо этого только краснеет... Если хотелось плакать, он не позволял себе такого открыто, на людях.

В моем сердце слезы,
Как над городом дождь;
Что это за грезы
Льются, словно слезы?

О легкий шум дождя
По земле и крышам!
Сердцу, что живет грустя, —
О мелодия дождя!

Слезы без причины
В сердце, ему тошно.
Как! Никакой кручины?..
Траур без причины.

Это трудно перенести,
Не зная, отчего
Без любви и ненависти
В сердце столько горести!

(П. Верлен)

В предпоследний год в училище Чужой как-то сник, смотрелся уж не таким, как раньше на фотографии у красного знамени в качестве примерного суворовца. Француженка это заметила, она немного выделяла его среди других и теперь считала, что самых чутких и восприимчивых портит быт закрытого заведения. У него начало портиться зрение, постепенными скачками. Когда сливаются очертания лиц и предметов, когда смотришь как сквозь мутную пелену, вернее, она опускается на глаза, иногда неожиданно, – неокрепшей душе становится не по себе. Или просто наплывами мутнеет в глазах, внутри что-то на мгновения замирает... легкие головокружения. Со временем стало ясно: то были, помимо прогрессирующей близорукости, функциональные нарушения кровообращения. Для подростков они не редкость. У него они потом вылились в вегетативные, локализовались наружу. А тогда он в замешательстве обратился к училищному врачу, – та его успокоила, сказала, что ничего особенного, бывает... Среди кадетов практиковалось отжиматься, например, на спинках кроватей, незадолго до отбоя. Поглядев, сколько раз отжимается Чужой, один из ротных рекордсменов одобрительно молвил: «А чё, неплохо. Ты с виду худой, но, оказывается, жилистый». Словечко «жилистый» прозвучало для него лучшей похвалой.

У него в роте имелся друг, причем тот сам искал с ним сближения. Точнее, непринужденно вошел с ним в контакт. У них было кое-что общее: внешняя мягкость в обращении, вокальные данные. Вместе пели в хоре. На территории суворовского находился довольно приличный парк, они иногда бродили там. Болтали в основном о пустяках, о серьезном речь почти не заходила, возможно, потому что друг выглядел благополучным и легкомысленным. Чаще всего делали трубки из веток бузины с мягкой сердцевинкой, нарывали ягод бузины и этим бисером перестреливались. Приветствием им служил ими самими придуманный куплет, где фигурировали их видоизмененные фамилии и который они, чуть завидя друг друга и сразу начиная улыбаться, распевали на мотив одной известной песни. Существовало отдаленное родство душ между ними.

Забавно, наверное, было бы наблюдать со стороны их кадетскую среду. Как некоторые непостоянно дружили (с возрастом кое у кого менялись друзья). Как одни вожаки и «удельные князьки» оттеснялись и сменялись другими, у которых вдруг оказывались шире плечи и выше рост. Как иные раньше вроде спокойные, вырастая, неожиданно становились вспыльчивыми, раздражительными или драчливыми и неуживчивыми. А их развлечения и негласные законы? Время от времени они устраивали друг другу «тёмную». Допустим, кто-то не понравился вожаку или что-то, по его мнению, не так сделал. После отбоя, стоит только потухнуть свету, на голову попавшего в опалу страдальца моментально обрушиваются все имеющиеся в спальне подушки. Тёмную однажды пришлось испытать Чужому. Молотят от души, подушки впечатывают, будто тяжелые мешки. Правда, испытанию подверглась его пустая кровать, поскольку сам он, почуяв неладное, за мгновение до этого втихаря перебрался на свободную соседнюю кровать и хихикал там; но это уже детали. Или такое «упражнение»: доброволец встает спиной к стене, делает глубокий вдох и задерживает дыхание, а несколько человек

с силой давят ему на грудную клетку до тех пор, пока тот не теряет сознание. Охотников до такого кайфа потом хлещут по щекам, чтобы привести в чувство. Чужой из любопытства разок согласился на вредный эксперимент. Ничего, чудненько... Среди них, «старичков», изредка появлялись новые кадеты, переведенные из училищ других городов. «Свои» принимали их жестоко, им приходилось туго. Но попадались оригинальные экземпляры. Один такой, по комплекции ходячий скелет (на него вначале ходили смотреть именно как на чудо анатомии), оказался редким нахалом. Он быстро использовал свою дешевую популярность с тем, чтобы его не затерли; сделался правой рукой местных заправил, не брезгуя ничем, чтобы им угодить и исполнять их волю; повел себя таким разбитным хамом. Через три-четыре дня он уже нагло вышагивал по всей роте выразителем чьих-то претензий, вставал в позу, задирали и оскорблял почти всех, хотя сам драться побоялся бы, и странное дело – никто не смел пресечь эту дешевку. В общем, он стремился занять теплое местечко в их среде, нажить авторитет за их же счет, во вред им, но разыгрывая своего в доску. И что вы думаете? Как-то раз в длинном ротном коридоре возникла удивительная процессия: торжественно-скоморошье шествие кадетов, в тоги-простыни одетых. На их плечах пупом процессии, живописно разбросав свои мослы, полубогаженным расхристанным скелетом возлежал он, герой дня, символ их позора, их дерьма. Под мрачно-бравурные возгласы он принимал свое чествование. Аналогично протекало действие у одного французского писателя в рассказе о шествии прокаженных. Похожее было на похороны Брежнева, маршем под голую барабанную дробь, слепым, неумолимым движением масс, производившими гнетущее впечатление. Напоминало скорее военное наступление, психическую атаку периода гражданской войны, чем похороны. Общее тут – слепая сила разрушения.

Вот и подошел к концу этап пребывания в суворовском училище. Позади 8-й класс. Чужой комиссован по зрению, но его спрашивают, не хочет ли он остаться, продолжить учебу. Казарма ему порядком надоела, он устал от ее дисциплины, и он говорит: «Нет»... Дома в качестве нового пальто ему перекроили и переделали черную суконную суворовскую шинель.

9-й класс школы. Чужой попал в совершенно иную атмосферу. Он оказался к этому не подготовлен, не обладал той относительной раскрепощенностью гражданских школьников и поначалу растерялся. К тому же, он был не из тех, кто стремится попасть в центр всеобщего внимания. Человек самодостаточный, интраверт, он в выпавших ему обстоятельствах и в условиях человеческого общежития, мало подходящих для его самоутверждения, относился к тем, кто полностью раскрывается (или может раскрыться) значительно позднее, приобретя жизненный опыт. Чем он тогда отличался в социальном плане? Послушанием и исполнительностью, безответностью (но не безответственностью), боязнью что-либо сделать не так или быть неприличным (подобные комплексы неполноценности, тесно связанные с общественной муштрой, были присущи многим в то время. Помнится, печаталась в каком-то журнале повесть «Человек в проходном дворе». Хоть и детектив, но как сказать, есть там любопытные суждения по данному вопросу). Что еще? Сколько Чужой себя помнит и вплоть до того, как он взрослым прошел через разные передряги, то есть большую часть своей жизни, душа его стремилась к деликатности и уважению в обращении с людьми, непроизвольно боялась обидеть кого-нибудь невзначай, так как сама была обидчивой. У нас ведь все изображалось самым-самым, передовым, лучшим (наши люди – само совершенство, чистота и непорочность!), негативные стороны жизни, в том числе человеческой природы, скрывались. Но Чужой их чувствовал, знал также в себе, а люди выглядели так, вели себя так, будто их в себе не знали, казались неуязвимыми, и это смущало, заставляло его стесняться. Уметь же завладеть всеобщим вниманием или просто представлять из себя что-то оригинальное и самобытное – кое-что значило, поскольку тогда все вдруг бросились на поиски личностей, точнее «гармонично развитых личностей», «людей будущего», как принято было говорить. Тем более в специализированной школе с математи-

ческим уклоном, где его после предварительного собеседования сочли подходящим контингентом. В рядовой школе, на фоне серости, выделиться было бы легче.

День первого знакомства. Сбор учеников их класса во дворе школы, встреча с учителем. Они подходят разрозненно. Ведут себя сдержанно, изучающе. Некоторые вроде знают друг друга, обращение свободнее, перебрасываются отдельными словами. Классный руководитель, он же учитель литературы, держится ненавязчиво, по-свойски, всем видом показывая, что он равный среди них. Ему лет тридцать; туфли носит модные, с обрубленными носками, по замечанию одного парня. Чужой об этой моде даже не слышал, он вообще не особенно представляет сейчас, о чем говорить, смущается. Ему было бы привычнее, если бы дали какую-нибудь команду; а тут какая-то необязательность, женская компания рядом, руки некуда деть, неизвестно, как стоять, разве что по стойке «смирно», да еще эта близорукость (очки он то носил, то нет)... Лишь душа впитывала новое.

Между нами говоря, заниматься писанием, писать – вещь неестественная, поскольку поглощает целиком, когда хочется просто жить, как обычно. Своеобразное извращение своей природы, наподобие сексуального. Но бывают вопиющие обстоятельства, когда нет иного выхода и необходимо назвать вещи своими именами. Охота пуще неволи. Ради этого стоит пойти на насилие над своей жизнью, ибо существует такое понятие как «духовность», еще существует. Поэтому извини, дорогой Товарищ, что бы ты там ни говорил, извращение будет в пределах нормы.

Итак, дремучесть, неподготовленность общества к необходимым переменам (неразвитость в некоторых аспектах). Ко времени Хрущева уже произошло много необратимых явлений: судьбы, изломанные прямо или косвенно, социально или биологически, начиная с революционных потрясений и хаоса, и далее – сталинские методы правления и репрессии («Четверо из каждых трех человек – враги народа», «Мы поймаем черную кошку в темной комнате, даже если ее там нет»). Тотальная недоверчивость. Страх и принуждение. Чем это отличается от многовековой рабской психологии? Новые идеалы? При чем же тогда здесь военные методы управления и обстановка страха, как это совместить с расписанным по всему миру трудовым энтузиазмом? Методом ловли несуществующей черной кошки в темной комнате? Построим «светлое будущее» втемную, на собственных костях? Фетиш, дикость, преступная организованность. Удивительно, как этого древнего зверя все еще продолжали ловить при Хрущеве? Но беды передаются по наследству: либо в разных формах скрытые протесты, самоустранение и равнодушие, либо вольное или невольное вредительство близкому окружению (прямое, или недружелюбной, нервной обстановкой, или подорванным здоровьем). Хоть в психологии человека у нас не разбираются, на практике вольно или невольно различные антигуманные вещи используются на потребу российских держиморд: раньше, например, поднимали шум насчет будто бы злоупотреблений бихевиоризмом на Западе, теперь же отчетливо видно, что, как раз наоборот, у нас у всех выработались социально извращенные условные рефлексy. Большинство из нас, может быть, даже не желая этого, уже не может поступать так, как нам нужно было бы поступать для нашего же блага. Были, конечно, отдельные более или менее личности, которые тогда ставились в пример как гармонично развитые, но они погоды не делали и не могли делать. Да и они – разве не продукт своего общества? Было стремление к чему-то более возвышенному, оригинальному, независимому, но одновременно было ощущение невозможности, в частности свободного самовыражения и самоутверждения: либо всевозможные социальные табу, отсутствие эмоционального отношения к человеку, либо субъективные, внутреннего характера препятствия (забитость воспитанием, стереотипы поведения, отсутствие душевного комфорта и эмоционального равновесия, следствия стрессов – неврозы). Была или тревожная духовность, тревожное ожидание чего-то, со скепсисом, или глухая, угрюмая, аморфная и непредсказуемая масса, толпа («Июльский дождь» Хуциева – предчувствие краха). Какое печальное коренное отличие: в западных странах свободу нельзя потерять, даже если она в

тягость, у нас же ее нельзя обрести, даже если очень к ней стремишься. Также, как свою биологическую природу, невозможно, оказывается, преодолеть и свою историческую природу... Как бы кстати тут пришлось искусство ансамбля «Битлз», появившись оно в СССР легально! Если не в 9-м, то хотя бы между 9-м и 10-м классами нашего поколения, когда «Битлз» достигли мировой известности, эта музыка могла уже звучать широко и открыто. Все равно ведь подпольные записи стали появляться года через два. Чего испугались власти? Ничего кроме благотворного влияния этой великолепной музыки на молодежь, кроме жизненного стимула для нее и ее сплочения, не могло случиться. Так нет, как это у нас принято, действовали по принципу «чем хуже, тем лучше» и при Хрущеве, и при Брежнев. И пропустить не пропустили, и взамен ничего не дали. Несмотря на всю разницу меж собой, два этих деятеля и их круги обнаружили одинаковый «музыкальный вкус». Не пущать, и все тут! Чему удивляться, основа то одна. Но вопреки запретам, «Битлз» и бит-музыка были и остаются символом поколения послевоенных годов рождения, а для многих это был девиз.

На одной из улиц, в самом городе грез
Все будет так, как уже прежде было:
Почувствуешь, как что-то смутное, пронзительное накатило...
О это солнце через пелену, которую туман вознес!

О этот крик над морем, этот зов в лесу!
Все будет так, как будто этому не знаешь объяснения,
Как будто медленно в себя приходишь после потрясения:
Предметы и явления свою изменяют суть

В этом городе магическом, на этой улице,
Где органы будут ярить жиги с наступленьем темноты,
Где в городских кафе за стойками сидеть будут коты,
И где б фрагменты музыкальные схлестнулись все.

Все будет так фатально, словно умереть пришли все сроки:
Текут неслышно слезы по щекам,
Смех сквозь рыдания в гомоне вокруг, то тут, то там,
На наступающую смерть намеки, —

Все старые слова, как тот букет цветов увядших!
Вдруг звуки едкие народной поплывут гулянки,
И вдовы медноликие, тяжелые крестьянки
Пройдут сквозь толпы женщин падших,

Что бродят там, с ужасными детьми болтают
И стариками без бровей, лишаем убеленными;
А в двух шагах, средь запаха зловонного,
Там на народном празднике петарды громяют.

Все будет так, как будто спишь и пробуждаешься!
И засыпаешь вновь и гредишь снова
Феерией все той же и той же обстановкой,
Летом, в траве, где гул пчелы переливается.

(П. Верлен)

Они нам дали то, чего нас лишило общество: эмоциональное отношение к человеку, то есть искренность, естественность, то есть живую жизнь. Однако это пришло гораздо позже. Поздно. Люди вечны, а души мертвы.

Что касается класса, где учился Чужой, там все были конформистами, ужасно приличными. Нет, не подумайте, что сверх меры, они были разные, и тихие, и шумные. Но дрессированные. Правда, ужасно. Но приличные. Время было, я вам замечу, еще то: время, вперед! Но они являлись уже не теми, разрозненные и разобщенные, с надломом, с попыткой саркастических отношений. Да и здоровьем не очень блистали, все-таки родились в послевоенные годы. Чужого перемена обстановки встряхнула, но не раскрепостила. Он держался бесхитростно, без претензий на что-либо. В основном занимался тем, что старался учиться, к тому же самостоятельно, а там это отбирало много времени. Собственно, так у них училось большинство. Некоторые держались запросто, открыто. Кое-кто скромно, затаенно, Чужой в их числе. Среди последних была группка парней, интерес которой заключался в сексе и девочках, в постоянном обсуждении сексуальных проблем, в кои они посвящали Чужого. Имелась также группа ребят с претензиями на оригинальность, с гонором, с чувством юмора (не все), со склонностью к эксцентрике. Эти делились на «простых парней из народа» и на ребят модных, интеллектуалов, остряков. Объединял всех их, создавая приятный доверительный микроклимат, классный руководитель; он умел найти с ними общий язык, нравился им тем, что на его уроках не было скучно. По девушкам класса лучше всего можно было определить состояние тогдашних нравов. Как консервативный элемент общества по своей женской природе они вели себя в соответствии с просьбами или требованиями учителей, морали, по крайней мере, внешне; общих с ребятами демонстративных союзов или групп с целью оппозиции чему-нибудь не образовывали. Отдельные из них брали на себя роль совести класса, выразителя его мнения, помогая тем самым классному руководителю в воспитании, в сплочении, как говорится, в духе. Самому же ему приходилось попеременно то быть довольным совестью учеников, то к этой совести их призывать. Он строил взаимоотношения с ними на основе добрососедства и взамен просил не подводить его перед коллегами. Уроки он вел порой нетрадиционно, умел заинтриговать своих подопечных, чем давал пищу для размышлений.

Очередной урок литературы. Сегодня он решил показать противоречивость и трагичность жизни.

– В реальной жизни все так переплетено и сложно, что иногда сто раз намучаешься, прежде чем примешь решение. И не всегда будешь уверен, что правильно поступил. Вы с возрастом вспомните эти мои слова.

Он читает отрывки из «Шорма» Биль-Белоцерковского. Это произведение о суровой, тяжелой судьбе моряков, о трагических переплетках, в которые они попадают и которые поданы натуралистично. Затем по контрасту он переходит к рассказу Аркадия Аверченко, повествующему о полковой шлюхе, как видно, намекая на излишнюю застенчивость некоторых учеников в их классе и на необходимость держаться непринужденнее, поскольку выражения в рассказе встречаются грубые, рисующие грубость и простоту быта. Некоторые мальчишки смеются: «Козе понятно!» – кое-кто из девчонок смущен. Но застылость отношений на уроке разбита, разбужены эмоции, активность. Эти произведения не входили в школьную программу. Разговор сам собой приобретает полушутливый оттенок. Кто-то просит рассказать что-нибудь забавное. И тогда учитель выдает из своей ранней молодости стихи-пародию:

Ходит Гамлет с пистолетом,
Хочет кого-то убить,
Недоволен целым светом,

Думает: быть иль не быть.
Офелия, Гамлетова девчонка,
Спятила, товарищи, с ума,
Потому что датская сторонка
Для народов хуже, чем тюрьма...

Короче говоря (на ребячьем жаргоне), «копыта откинула», «коньки отбросила». Они ему в ответ, приняв эстафету юмора, – свой «народный фольклор»:

Помнишь мезозойскую культуру?
Мы с тобой сидели под скалой.
Ты на мне разорванную шкуру
Зашивала каменной иглой.

Далее в куплетах песни к первобытной паре в гости пожаловал сородич-сосед, они что-то не поделили, и...

Я не помню то, что было дальше.
Помню только как-то в забытыи,
Как, того соседа доедая,
У костра сидели я и ты...

Или такие вольно-военные (почти вольнонаемные) строчки, тоже из арсенала классных остряков:

А я, молоденький парнишка, —
лет семнадцать, тридцать, сорок,
так примерно, может, больше, —
Лежу с оторванной ногой,
зубы рядом...

Одна из девушек, которая нравилась Чужому, повышенной эмоциональности, смеется среди других характерным, открытым грудным, все покрывающим смехом. У нее все чувства наружу. На шум и оживление в классе живо реагирует местный ревнитель дисциплины, завуч школы, и, хромая и стуча своей вечной палкой, появляется у них. Возникает монументально, олицетворением табу. Кажется, классному руководителю его вольности сходили с рук исключительно за счет полудружеских, уважительно-приятственных отношений между ним и завучем, но наставления завуч ему все-таки читал, посещая их. Именно перед завучем просил своих учеников не подводить его классный. Иными словами, завуч всего-навсего его терпел, из личной симпатии. А если бы на месте учителя был другой?.. Иной раз он мог предложить следующее занятие: составить из букв слова «карамболь» как можно больше слов, имея в виду, что максимум их здесь более сотни или даже ста двадцати. То были своего рода разгрузочные уроки.

Учитель математики, мужчина солидной, немного грузной комплекции, смотревший на учеников как бы с высоты своего уровня, своего познания в науке и никогда как бы полностью не снисходивший до них. Как правило, он одним своим присутствием, одним видом подавлял все попытки словоизлияний остряков. На занятиях у него стояла тишина. Хотя, похоже, человеком он был далеко не суровым. Скорее из тех, кого называют основательными. Тишину

нарушал только он сам, шумно сморкаясь в платок, и тогда сосед Чужого по парте, подвижный, как ртуть, уважительно крикнув, удваивал темпы своей работы.

При объяснении на школьных уроках теорий в физике (и астрономии) в самом построении систем Чужому виделась какая-то надуманность, условность, искусственность. Ему всегда казалось, что в реальной жизни физические явления, процессы могут происходить не совсем так, как там объяснялось, или даже совсем не так. Почему именно в указанном порядке, а не иначе? Разве процессы не могут протекать не упорядоченно и закономерно, а хаотично? А если и упорядоченно, то разве нельзя то же самое истолковать по-разному? И он въедался в смысл сказанного и прочитанного и искал другие подходы.

Учительнице истории никак не удавалось овладеть положением в их классе, повлиять на них. Из раза в раз она взвинчена или быстро раздражается в процессе урока, нервничает; даже если бывает спокойнее обычного, все равно готова сорваться, накричать. И срывается, не понимая отдельных шуток, а то и колкостей, которыми они перебрасываются вроде бы меж собой:

– Что это такое, что за реплики с места?! Почему вы так себя ведете?! Безобразие! – кричит она кучке ребят, не особенно жаловавших ее, и отвечает им чем-нибудь язвительным. Держится чаще всего напряженно, в конфронтации с ними; поэтому, когда сама пытается пошутить, получается у нее неудачно или неуместно. Иногда, взорвавшись, убегает за завучем.

– Эх, историчка-истеричка! – бросает кто-либо из учеников, когда она скрывается за дверью. Ну, в таких уж случаях завуч – в своей стихии!

– Опять Ваш класс, – державно обращается он к классному руководителю, который тоже сюда вызван. – В прошлый раз баловались на вешалке, кавардак там устроили. Сегодня плохо дежурили. Сейчас урок срывается. Прошу Вас принять меры.

Классный краснеет и обещает. Пожалуй, смущение руководителя больше всего впечатляет учеников, они даже перешептываются. Потом, наедине с ними классный объясняет, что не всем удастся преподавать, учительнице трудно, что надо быть к ней доброжелательнее. Но дело, помимо прочего, еще в том, что кое-кто из ребят, из молодых да ранних, в том числе Чужой, задают учительнице истории вопросы с подковыркой по теме, а та не знает, что ответить, или говорит, что это им рано знать, не положено, «вы еще ничего не понимаете». В учебнике только общие фразы, полные воды, лозунги да даты, которые надо зазубрить. Ни разу, ни на истории, ни на других занятиях, никто из взрослых даже не заикался, например, о культуре личности (вопрос не обсуждался в школе), несмотря на благоприятный для этого период, хотя один-два раза в классе пытались поинтересоваться.

Самой экзотичной персоной была учительница французского языка. Стареющая дама, немного смешная, подслеповатая, но аффектирующая приятные манеры и хороший тон. Чужой у нее считался фаворитом в смысле учебы, так как после суворовского училища заниматься в школе французским языком – проще простого. Когда она его опрашивала на уроке, лорнируя текст обыкновенными полусломанными очками, которые она держала в руке, водя ими и носом по бумаге, он так быстро, подробно и полно отвечал, что она часто не успевала даже постигнуть сказанное им. Приходилось повторять, ей оставалось только соглашаться и восхищаться. Дома на решение задач по высшей математике у него уходило много времени, и, хотя было интересно и были удачи, в классе он числился по этому предмету на среднем уровне, не выше. На уроках же французского он чувствовал себя свободно и уверенно. Требуется исполнить роль в простенькой французской пьесе для детей на школьном вечере? Пожалуйста! Вместе с другим бывшим суворовцем, а теперь учащимся одного с ним класса, они выступают на вечере.

В дверях появляется юморист из школьников и, забавляя присутствующих, предлагает:

– Кому нужна хлебная корку? – он показывает ее всем. – А то сам съем.

Пока некоторые улыбаются, он продолжает:

– Последний раз спрашиваю, кому? Потом просить будете, – не дам! – (и после паузы) – Ладно, сам съем. Все, съедаю, опоздали.

Нет, это не на сцене и не на французском языке. Просто будничные эпизоды на перемене. Как и другой, подобный ему. В затылок друг другу в класс вваливаются, топая в ногу, семеро наголо остриженных парней. Шайка бритоголовых, великолепная семерка. Ну, просто посмотрели ребята зарубежный фильм. Ну и что? Как это, то есть, ну и что! Тлетворное влияние Запада, вот что! Чтоб завтра пришли с родителями, надо будет обсудить!

Да, кстати, как там у нас с дружбой и любовью, девичьей честью и мужским достоинством? С соблюдением морального кодекса, наконец? В общем, прекрасно. Ой люли, ой люли, хором мы его блюли! Ну а в частности? Для определения этого пройдем, дорогой Товарищ, на собрание союзной и другой бесхозной молодежи. Но вначале давайте побываем в походе, сходим покормим комаров. Они почему-то предпочитали леса, где водилась прорва этих насекомых... Отправились с ночевкой, на ночь глядя; прихватили на этот раз и классного руководителя. Чужой поехал не выспавшись, дома у него тогда не ладилось. В электричке «простые парни» заедино с остряками-интеллектуалами сразу начали молодецки резаться в карты, в модного по тем временам «козла», благо, классный шеф поехал отдельно. Кое у кого нашлось винцо, – скорее, бравада тогда, чем обычай у школьников. Кандидат в лидеры, он же штатный остряк и гитарист-самоучка, пускает в ход инструмент:

На Дерибасовской открылася пивная.
Там собиралася компания блатная.
Там были девочки Маруся, Роза, Рая
И с ними спутник жизни Васька-Шмаровоз.
Три полудевочки, один шикарный мальчик...

Или:

...А под нами глубина —
Пять километров до дна.
Пять километров и двадцать пять акул.
А волна до небес
Раскачала МРС,
Но никто, никто из нас не утонул.

А на месте, в лесу у речки, – костер, попытки подражать под гитару авторам возникшей в те года туристской песни. Приятно посидеть у костра летом, ближе к ночи. Потом, по-простецки, – палатки на траве, и спи, если сможешь или если дадут, потому что возня внутри палаток продолжается долго... Так бывало. Но в этот раз они с шефом обосновались на ночлег вроде в доме лесника, и вышла у них вполне благопристойная безалкогольная пирушка далеко за полночь. Было неплохо, весело. На следующий день, с раннего утра, все отправились пешком по лесу. Чужому так и не удалось выспаться, и он двинулся в любопытном и странном ощущении: все окружающее воспринималось сквозь пелену, несколько ирреальным, как во сне или, точнее, в полусне. В такие моменты, если очень захотеть, можно, наверное, податься в субъективные идеалисты; но он о них еще не знал, а если бы знал, то не захотел бы. Он приблизился к шедшему поодаль парню, с которым общался, одному из лучших учеников по математике, и оба они как-то незаметно пошли рядом. Некоторое время шли молча. «Странно, – произнес математик, – иду, как во сне, даже как бы плыву». – «Интересное совпадение: и я тоже». Мироздание оставалось на своем месте, внешне ничего не изменилось, лишь невидимая паутинка гармонии, гораздо более реальная сквозь призрачную пелену, билась и пульсировала в стрем-

лении соединить все живое. На миг даже почудилось, что она возникла в области бокового зрения, то невесомо замирая и паря в чистоте и свежести воздуха, то двигаясь вместе с движением глаза. Вскоре пелена полусна растворилась, исчезла. С этим парнем Чужой поддерживал дружеские отношения; к тому же, у них оказались рядом садовые участки.

Летом они виделись там, ходили вместе с младшим братом Чужого купаться на далекое от садов озеро. Лесная прогулка продолжается. Предыдущего попутчика сменил другой парень и сразу начал назойливо гундосить, самозабвенно смаковать свои и чужие эротические влечения и сексуальные похождения во всех технических подробностях. Это был его конек, оседлав которого, он мог болтать сколь угодно долго. Об ином от него редко можно было услышать. Если когда что-то даже интересовало в его разговорах, в конце концов, все равно начинало надоедать. Он же был неистощим на подобные штучки, даже когда выглядел утомленным. Много раз Чужой его встречал уже после окончания школы, чаще всего на главной улице для фланирования, на «Броде», где он «клеил» своих «чувих», и всегда беседы сводились к сексу. Судя по его словам, он приобрел богатый опыт в данной области, но не удовлетворялся достигнутым и продолжал экспериментировать. Секс являлся единственным настоящим интересом в его жизни. Он часто подбивал Чужого на связь с женщинами, но тот мог начать только с душевного общения, с души, а не с тела. В свое последнее время он выглядел пресыщенным всем, хотел «чего-нибудь новенького». Лет через двенадцать после школы Чужой узнал, что он покончил с собой. Зловещую роль здесь сыграла специфика его работы в значном месте, которая заключалась в негласном правиле «рука руку греет» и таила в себе опасность вредительства в отместку. В жизни он был безобидным и вообще-то неплохим, непосредственным человеком, в чем-то привлекательным и искренним... В походе этот парень намекнул в узком кругу, что один из ребят, «втихаря кирнув» (кирнуть, то есть поддать, то есть быть под градусом значит... В нашу эпоху трезвости вы, наверное, с трудом уже вспоминаете, что значат подобные слова, да?), короче, пытался юноша соблазнить прошлой ночью относительно молодую хозяйку дома, да сорвалось.

Ах ты, господи, какая незадача, да еще хозяйка вдруг пожаловалась шефу! Вот вам и обещанное собрание. Прямо ЧП! Нет, ЧП не в том, что сорвалась амурная интрижка. И не в том, что молодуха сообщила, не угадали. В том, что организовали собрание по этому поводу? Чтоб вы не путались в догадках с позиций нашей нынешней путаной жизни, лучше послушаем собрание... Приход классного руководителя предваряет шутник с хлебной коркой в руке:

– В конце концов, уж сейчас-то кому-нибудь нужно корку? А то съем, – спрашивает он почти безнадежным тоном, обходя класс. – Что, опять не нужно?! Ну это уж вапще-э-э! Ну зажрались!

А наши ученики в это время делятся впечатлениями о походе, гадают, зачем их собрали. Классный появляется с несколько отстраненным, как бы безучастным видом:

– Ребята, вы накануне вступления в самостоятельную жизнь; увидите, наверное, собственными глазами в будущем жизнь при коммунизме. У нас с вами есть Моральный кодекс строителя коммунизма. О чем он гласит? Духовное богатство, нравственная чистота, физическое совершенство – таким будет человек будущего...

Интересно, думает Чужой, как это за такой короткий период, еще при его жизни, люди смогут так быстро перемениться? Ладно, духовное богатство – это: Онегин – лишний человек, Базаров – нигилист, Пьер Безухов – почти что наш человек, Данко – пример для подражания, Павел Власов из «Матери» Горького – совсем наш человек, не говоря уж о Павке Корчагине и молодогвардейцах, кто там еще. Нравственная чистота? А как же быть со своей несовершенной природой? Даже неудобно как-то. Может быть, другие совершеннее? Но вот что всего интереснее: как это так это б сделать, чтобы занять фигуры древнегреческих статуй?

– ...а что мы видим у нас? – продолжает классный. – Нашелся среди вас такой бессовестный, – произносит его фамилию, немного замялся, затем решительно, – да чего уж там, буду

называть вещи своими именами: предложил сожительство в нашу походную ночевку женщине, годящейся ему чуть ли не в матери, вот.

Секундная немая сцена. Первой откликается на эту явную попытку вовлечь их в обсуждение девушка с чувствами наружу: как совесть класса она выражает возмущение, смешанное с усталым разочарованием в людях.

– О-о, силен чувак! – реплика из стана остряков. Девушки с заплетенными косами, девушки с бантами смущенно, а большинство ребят глухо молчат. Редкие перешептывания, два-три смешка. Общее чувство неловкости. Поди разбери, из-за чего: из-за необходимости открыто обсуждать столь деликатное происшествие или от поступка «падшего мальчика». Сам же «мальчик» невозмутим и внутренне, как видно, готов к любому повороту, готов вести себя цинично. В классе учились три девушки с одинаковым именем, но разной комплекции и, естественно, характеров тоже разных; их именовали «пионер – комсомол – партия». Кто-то пытается шутки ради выяснить их отношение к инциденту. «Пионерка», как и положено, покраснела; у «комсомолки», вот тут неувязочка, как всегда двусмысленная, саркастическая и я бы сказал но боюсь обидеть комсомол кривая улыбка вкупе с вихляющей походкой, когда она «хиляет» к доске; «партийная», девушка физически очень развитая и высокая, клеймя провинившегося, с любопытством поглядывает в его сторону, в глазах живой огонек. Кто-то из шутников предлагает произносить фамилию «падшего» в среднем роде, благо ее окончание позволяет это сделать. Предложение явно нравится и вызывает смех. Так ведь и прижилось с тех пор: девочки, мальчики и оно! Один из парней подсовывает той самой совести-девушке лирико-эротическое стихотворение Лермонтова:

... Ты сама, горя желаньем,
Поманишь меня рукой.
И тогда душа забудет
Все, что в муку ей дано,
И от счастья нас разбудит
Истощение одно.

– Дурак! – совершенно искренне и горячо говорит ему она и все ее чувства. – Вот сам полюбишь, тогда узнаешь!

После собрания два остряка шествуют в обнимку по классу:

– Духовное богатство, нравственная чистота, – вещает один и, демонстрируя тощий бицепс другого, заключает, – и физическое совершенство.

В сфере модных танцев набирал тогда силу твист. Рядовой школьный вечер. Расхаживает законодатель школьных мод. Он вальяжно присоединяется к симметрично выстроившейся и более или менее синхронно двигающей своими задними частями колонне танцующих ребят и девчат. Твист-колонна немногочисленна, в основном элитные мальчики и девочки. Большинство стоят и смотрят на них. Но вот в азарт входит один из секс-мальчиков; маленького роста, он неожиданно и неуклюже пристраивается где-то сбочку твистующих с таким видом, будто хочет сказать: я сейчас, быстренько, хе-э, чуть-чуть покручу ножками-ручками, попой, хи-хис, раза два, ну вот, хорош. Так же неожиданно он прекращает свой скромный мини-танец. В танцующих женщинах бросалась в глаза скрытая животность, о которой они не знали, и это наводило на мысль, что о человеке известно мало, по крайней мере, что-то серьезное не учитывается в нашей жизни.

У одной прилежной девочки из их класса начались сильные головные боли. Они тогда навещали ее в больнице. Внешне она выглядела как обычно, строгой. Говорили, что она переутомилась. У другой, через некоторое время после школы, произошел нервный срыв.

День рождения одноклассницы, девушки с чувствами наружу. Многие из них собрались у нее дома. В отношениях ее родителей наметилась, вероятно, небольшая трещинка, поскольку она то явно, то скрывая, выказывала беспокойство о них, особенно об отце. Словно это ей было важнее, чем ее день рождения. Вполне приличная по тем временам квартира в центре, у матери Чужого тогда была гораздо хуже. Простой проигрыватель, порядочно пластинок. Иованна со своими «Танцующими эвридиками». И кое-кто из ребят со своими первыми бутылками вина, первым причастием.

Непродолжительное время скромник Чужой увлекался «пионеркой». Закончились увлечения черезчур ухарским прыжком с высокого парапета на каменные ступеньки лестницы на набережной, вернее, неудачным приземлением и гипсом на левой стопе.

Дома, по мере взросления братьев, не появлялось ничего утешительного во взаимоотношениях близких. Мать, приходя с работы, с запрограммированной регулярностью плакалась бабушке о неразберихе, склоках, нервотрепке в поликлинике. По участковым больным она бегают дольше всех, и на прием-то к ней записывают почему-то больше больных, чем к этой «врачихе, ну Вы помните, мама, я в прошлый раз про нее говорила... Да не эта, вот глухотня, я ж Вам ясно говорю кто, не дергайте мне нервы!.. А сегодня захожу в кабинет, – опять мне подсадили ту врачиху, опять будем принимать вдвоем в одном кабинете, какая тут работа!» Бабушка: «Опять двадцать пять! Расчехвостили...». Бабушка, не понимая причин этих явлений, поскольку никогда не работала на государство в бытность свою женой мелкого полумещанина-полукупца, имевшего небольшую лавку, обычно реагировала удивленно-испуганными междометиями типа «а!», вырывавшимися у нее легкими вскриками при втягивании воздуха в себя, иногда произнося что-нибудь вроде «вот, я так и знала!» и слегка отдуваясь, иногда оставаясь с испуганно-открытым ртом. «Ну что Вы вытарасили глаза? Нет, Вы, мама, не только глухая, у Вас старческий маразм начинается!!! Не эта, а другая врачиха, как Вы не поймете?! Ну, что Вы замолчали?.. Вы что, немая? Не махайте на меня рукой, не махайте, я сама могу махнуть! Что отстань? Вот всегда так с Вами, одна нервотрепка!»... И раньше, когда Чужой был маленьким и толком-то не понимал, почему мама расстроена и злится, было то же самое; точно так же, как вначале было слово. Один раз, огорченный, желая в следующий ее приход отвлечь ее от разговоров во взвинченном тоне и развеселить, он придумал очень смешную, на его детский взгляд, вещь. Приладив к губам стеклянную банку и сделав так, чтобы она присосалась к его лицу, он притворился спящим. Трудный номер: долго ждешь, когда на тебя обратят внимание, банка норовит соскользнуть без поддержки руками, нужно выкачивать из нее воздух собственными легкими в качестве насоса, дышать, да еще смех разбирает, ну просто умора. Однако все впустую. Внимание на него так и не обратили. Мама по привычке жаловалась. Ни его, ни молчаливого призыва его не существовало. Вначале было злое слово...

Нет, почему же, он, бывало, пытался подсказать ей в подобных и других случаях, когда она на его глазах унижалась перед кем-то или, вечно торопясь по любым обстоятельствам, вечно боясь упустить что ни попадя, дергалась и дергалась, и все валилось у нее из рук, что гораздо важнее тут сохранять свое достоинство, что лучше плюнуть, за всем не угонишься, все сразу не сделаешь, но она, казалось, не понимала, о чем идет речь. Суетится, сумочка у нее не закрывается, платье не застегивается, а уж если застегка сзади – светопреставление («ну помоги же, уф, уф, окаянная, ну никак, прямо наказание, я больше не могу-у-у!»), приходит в ярость, наливается краской; музыка тут еще по радио, симфонии-концерты разные («выключите эту пиллику, руки бы этому скрипачу повыдергать, чтоб не пилит на нервах, убить того мало, кто сочиняет такую музыку!»); документы, справки, нужные бумаги, конечно, куда-то подевались некстати («будь они прокляты, будьте все прокляты»), глаза навывкате, готова лопнуть («я с вами стала комок нервов!»)... В такие моменты невольно отскакиваешь от нее подальше, и, если в следующий раз она психует, особенно-то не тянет помочь ей застегнуть платье. В последнее время в матери появилась особая желчность, перешедшая в ядовитость;

дома она позволяла себе все выплескивать на близких, доходила до безобразной нервной распушенности. Если она так разряжалась из-за своей неудавшейся личной жизни, то не слишком ли это большая цена за избавление от напряжения? И избавление ли это? Не прав ли был Фрейд, говоря о неудовлетворенности инстинктов и подсознательного, о возможных негативных последствиях в результате? Во всяком случае, «фрейдистские мотивы явно проглядываются в поведении этой женщины», думал Чужой чуть позднее, уже учась в институте. Женщина, не сумевшая сохранить свое семейное гнездо в целостности, прогнавшая отца своих детей, далеко не последнего из мужчин (особенно ввиду их дефицита в послевоенное время), разве могла она в дальнейшем поддерживать огонь семейного очага, которому недостаточно одних материальных ресурсов и необходимо тепло души? Не обладавшей духовностью, легче всего ей было следовать в семейных делах принципу «разделяй и властвуй», и она, может быть неосознанно, пошла по этому пути.

Чужой и брат. Оба они, совсем маленькие, имели привычку забираться ночью к маме в постель. Иногда к маме вместе с папой; но чаще, когда она была одна; помимо всего прочего, к ней одной еще и потому, что это продолжалось, наверно, также после развода. Чужой помнит, что его ночью тянуло к родителям: он мог чего-нибудь неприятное увидеть во сне в одиночку, и тогда бежал к ним в кровать, мог просто по привычке. Какие это были чувства? Да просто живое льнуло к живому, маленькое – к большому, теплему, знакомому, а позже – уже к своему, близкому. Все та же вселенская трепещущая нить. В кровати они могли не поделить маму с папой. В таких случаях было легче, дело заканчивалось быстрым распределением сыновей по разные стороны постельных баррикад. А вот с одной мамой было хуже. Чужой стремится залезть к ней под одеяло, а она порой гонит его; младший брат, однако, остается с ней. Зрелище для старшего очень обидное и горькое. Вы скажете, ерунда, блажь? Не думаю. Далее. Как понять эти поступки матери? Что вы можете возразить? То, что дети друг подле друга могли быть более беспокойными, взбудораженными, чем по-отдельности? Мать могла быть уставшей? Второй сын был для нее все-таки младшенький? Нет-нет-нет, взрослому это говорить незачем, вы подите объясните это ребенку! Фундамент под будущую трещину начинает закладываться...

Честно говоря, после суворовского училища Чужой возвратился домой не с легким сердцем. Помимо специфических юношеских недовольств, что-то в нем копошилось касающееся семьи.

В ее атмосфере всегда витало нечто примитивно-давящее, чего-то явно не хватало. Он всегда инстинктивно чувствовал, что его там не встретит беззаветная преданность. Пустота без настоящей жизнерадостности. Суетность всегда нервного характера матери. Ее слезливое бесчувствие. Больше всего хлопот матери доставил, по ее же словам, младший сын, включая сюда и его болезнь, и даже беременность им, которая ей далась трудно. Возможно, именно это и еще то, что он был младшим, незаметно для нее самой ориентировало ее на младшего. Чужому приходилось заниматься с братом, без конца объяснять ему уроки, домашние задания. Его непробиваемость и невероятная тупость надоедали, даже утомляли и раздражали. Он был здоров, но все-таки не доставало в нем чего-то из неуловимо высшего порядка духа: интуитивно верного, дифференцированного восприятия, точного понимания, интеллектуального чутья, – вообще не было ничего интуитивно-чуткого, что в быту, в общении легко замечается и, кстати, у нас одобряется, а посему может сослужить хорошую службу. Это духовно-интеллектуальная неразвитость, своеобразная духовная импотенция. Казалось, в нем вытравлено все свое, личное. Поэтому он являлся великолепным объектом для манипуляций. Существовавший вакуум заполнялся, правда, с трудом, чужими мыслями, чужими мнениями, чужим влиянием, даже чужими чувствами, скорее через подкорку, чем через сознание и осмысление. В результате мать, вколачивая в него всякую примитивщину, лепила его по своему подобию. А иного практически обществу и не требовалось... К тому же он принимался ни с того, ни

с сего, как говорится в быту, «психовать». Пока еще младший не осмеливался явно, открыто хамить, но когда, в дополнение к скуке с ним, начинал как-нибудь дурить, капризничать, дерзить, делать поперек, Чужой не выдерживал и колотил его.

– Ой-ой-ой! А-а-а! – моментально раздается пронзительный истерический вопль. Это, выпучив глаза, наперерез бросается мамаша. – (старшему) Ты что, паразит, делаешь! Изверг!

Если бы сейчас закричали «На помощь! Убивают!», такой крик произвел бы меньший эффект, чем ее непередаваемый, потрясающий вопль. На этот вопль испуганно прибежала тетка, даже когда была в смертельной ссоре с сестрой и зарекалась переступить порог ее квартиры, а тихая полуглухая бабушка, вздрогнув, становилась в боевую стойку. Невзирая на погоду и проводимость звуковой волны, вопль пробивался сквозь стены близстоящих домов, шокируя по пути случайных прохожих; при благоприятных метеоусловиях принималось дребезжать все неодушевленное и одушевленное, что только могло резонировать на высоких нотах.

– О! о! о! Ну, начинается... Бесплатный концерт, – привычно отзывались соседи.

– А! Это наша участковая, – охотно информировало замороженных зевак сидящее на посту местное сарафанное радио, с привычной замороженностью ловя каждое взвизгивание и блестя пристально-колкими глазами.

Дома, уже давно, они держали тогда собаку, восточноевропейскую овчарку. Порода довольно крупная, не из трусливых. Когда раздавались вопли и крики, истерические причитания, бедное животное резко приседало на задние лапы, прижимало уши и затравленно сверкало белками глаз или забивалось куда-нибудь подальше и жалобно скулило...

Вообще-то, это отдельная печальная история, в данном случае очень характерная. Для чего мать взяла собаку? Ведь раз уж она в доме завелась, тем более овчарка, с ней нужно проводить специальные занятия, выводить ее гулять, ей необходимо движение, а если этого нет, – то хотя бы нормальное обращение. На первых порах гулять ее выводили; затем – изредка, а временами совсем забывали; держать стали в сенях, в любую погоду, отгородив закуток с конурой. Никаких тренировок не было. Периодически надо было отдавать ее на случку, – но случали всего один раз, лишь раз она принесла щенков. Получилось так, что породистая собака все больше дичала. Причем вести себя стала адекватно обращению с ней, моментально реагировала на любую перемену эмоций в семье. Кормили ее то что называлось «с палкой», и началось это еще до того, как собака стала плохо есть. Еще раньше мать любила при кормежке позудить: «Зы... зы... дай мне!» – и смеялась, если собака огрызалась. Кажется, и другим по ее примеру доводилось так же вот поиграть, поразвлечься. Теперь, когда голодная собака ела плохо, брали длинную палку, тыкали в ее миску: «Ешь... ну!.. а то сейчас возьму...». Она бросалась на палку, яростно кусала и грызла ее, потом принималась за еду. Так и приходилось стоять около нее с палкой, пока она не доест. Это уже стало рефлексом.

Добровольно она ела только мясо и самое вкусное. В ее закутке подолгу не убирали, там скоплялись груды экскрементов. Чтобы попасть в туалет, нужно было пройти через закуток, но каждому из них до уборки и дела было мало, у них были свои счета, свои нелады, они препирались. Появилось что-то затравленно-подлое в поведении породистой овчарки, злость и агрессивность не только к посторонним, но и к хозяевам. Ответная же радость к хозяевам стала радостью преувеличенно-пресмыкающейся, скулящей, пугливо-поспешной, словно ждущей какого-нибудь подвоха. Она кусала любого из них, иногда даже без причины; как видно, по старой памяти; а когда ее били за это, лишь больше свирепела, могла искушать в кровь. Закончилось все настоящим варварством. Мать позвала знакомого охотника... Он поднимается на две ступеньки лестницы, ведущей на чердак, откуда лучше видно собачий закуток. Прилаживает к плечу двустволку. Дети стоят рядом. «Жалко, – думает Чужой-взрослый, – я оказался в то время недостаточно зрелым, чтобы остановить происходящее». «Жалко ее», – думает Чужой-старшекласник, но вслух почему-то спрашивает охотника о другом и смот-

рит дальше. Их собака привычно и яростно кидается на дверцу-перегородку, по виду не чуя опасности, сама подставляясь под выстрел. Залп в голову из одного ствола бросает ее на пол. Кажется, она ничего не поняла. Рыча, делает движение встать. Она думает, что ее опять ударили, только сильнее, чем обычно, сейчас она вскочит и бросится на обидчика, и отомстит... Но уже не встала. Голова бессильно падает. Дальше – агония...

Что скрывалось за стычками братьев? Чей эгоизм, чья нелюбовь, может быть, тут виноват был Чужой? Эгоизма у них у всех хватало, не только у братьев. У Чужого он тоже, несомненно, был. А как без него? Он нужен до определенных пределов; в конце концов, на эгоизме, на личных интересах человека многое основано, и к альтруизму можно прийти только через эгоизм. Не в нем дело. Чувствовался какой-то яд внутри семьи. Мать словами могла затиранить, затравить любого; чаще она обрушивалась на старшего. Старший, он был из тех тихих омутов, в коих рано или поздно заводятся черти. Она видела, что тот имеет свое мнение, может и поспорить, доказывая его. Ей это не нравилось. Она не привыкла думать, не умела рассуждать, боялась всех и всего, кто и что выше ее или ее понимания, считала себя единовластной хозяйкой над теми, кто от нее зависит, кого она приручила. Ладно бы еще она при этом была хозяйкой самой себе, но ведь она собой совершенно не владела! С современных позиций, это истероидный тип человека, а также у нее был явный невроз. Если бы врачи были требовательней или внимательней к коллегам по работе, они б, наверное, обнаружили в своей среде немало такого «добра»... Теперь что касается любви-нелюбви. Чужой не знает. Он лишь знает, что брат не нравился ему порой своим поведением. Кроме прочего, младший, наверняка, привык за время отсутствия старшего в училище в одиночку пользоваться благосклонностью матери и всем остальным, что она предоставляла. Определение бабушки: «Большекромый...». Он бывал эгоистически упрям, неуступчив, а между тем, не обладая тонким пониманием и большой сообразительностью, хитрил, не забывал спрятаться под крылышко мамы, пожаловаться или наябедничать ей с пользой для себя: «Ма-ам, а че он...», – а то и подольститься к ней. Определение бабушки: «Прихвостень материн...». Чувствовал, что мать не будет разбираться, кто прав кто виноват, и пользовался этим. А ведь в подобных случаях следовала вакханалия нервов. Поди тут докажи чего-нибудь... С другой стороны, непробиваемость младшего позволяла ему неуязвимо выносить материнские «концерты». Мать с младшим сыном сблизжали нервно-тираническая любовь и неразборчивость в средствах – одной – и примитивность, способность на почве духовной неразвитости такие минусовые эмоции принять – другого. Их привлекала друг в друге какая-то недужная человеческая недостаточность, незавершенность.

... «Юродивый» – это значит «Юра дивный», – само собой сформулировалось у Чужого. Афоризм понравился в семье всем, включая того, кому предназначался...

...Младший, привязанный к кровати, бесится и дергается, пытаясь высвободиться. Матери нет дома. Привязал его Чужой: брат перед этим распахивался, упрямо желая добиться своего. Бабушка стояла тут же, одобряла: «Правильно. Крепче привязывай, крепче... вон, смотри, сейчас развяжется!»...

В семье все постоянно взаимно путались под ногами, шипели и огрызались. Обитали на маленькой жилплощади. Две смежные комнаты, без дверей меж ними; дверь внутри основного помещения была лишь между жилыми комнатами и кухней. Двух кроватей и дивана на всех не хватало. Чужой ночью ставил раскладушку, которая при любом расположении оказывалась на проходе. Всеми правил условный рефлекс взаимной невежливости, царило взаимное неуважение. Тот, кто ложился спать первым, обычно, не дожидаясь остальных, раздраженно кричал (исключая бабушку): «Эй, там, – тушите свет!» «Эй, ты!..», – грубили друг другу братья, сыпались разные оскорбления. Чужой часто засиживался, делая домашние задания, допоздна и даже за полночь. Письменный стол с настольной лампой находился в маленькой комнатке у терпеливой бабушки, но свет беспрепятственно проникал и в большую, в «зал», вызывая, в зависимости от настроения, ворчание или зев матери и брата. Чужой все делал старательно,

медленно, так как любил подробно разобраться, выяснить, довести дело до конца, хоть часто не успевал. «Копуша, времяпроводилка!» – нередко пилила его мать. Он же считал: главное – это не когда, а как сделать, добротно или плохо.

– Как же ты дальше будешь жить! – сказала она однажды, намекая на его гордость и на то, что для нее было дерзостью: иметь свое мнение. Лицо ее приняло постно-прокисшее выражение. – Ты что же думаешь, кому-нибудь нужен что ли будешь, кроме матери, а? Ведь всем будет наплевать на тебя, безразлично, как ты там! Ох и трудно тебе придется в жизни!

– В нашем обществе нужен буду, у нас так устроено, по справедливости, – запальчиво ответил он, скорее не потому, что был в этом уверен (хотя, в общем-то, иного не знал), а для того, чтобы отстоять свою позицию, доказать, что он тоже человек, потому, наконец, что здесь просто необходимо было что-нибудь ответить, реплика напрашивалась сама собой. Трудно или нетрудно будет в жизни, разве в этом дело? Что ж теперь, не быть самим собой из-за этого? Да и как это можно не быть самим собой, жить не по-своему, куда от этого денешься? А чтобы нетрудно было в жизни, что, выходит, нужно быть таким же дерганым, как ты? Причитает: «О-ё-ёй, совсем не приспособлен к жизни...»

Похоже, они выросли Иванами, родства своего не помнящими. К отцу в гости не ходили, хотя он жил недалеко от них. Правда, Чужой раза два в детстве там бывал, но он не уверен, что оба раза после развода родителей. При редких встречах на улице отец сдержанно интересовался его жизнью, подбадривал, а дядя, его брат, всегда ободряюще тряс Чужому руку, крепко сжав ее. «Подрастешь – поймешь, почему так получилось», – выговаривал отец, но не вызывал у сына сочувствия, скорее наоборот, неприязнь. Порой, произнеся первые слова, отец внутренне... сразу сдавал, глядя на Чужого, как если бы тот... имел потерянный вид, и тогда дядя с тетей, его сестрой, уже подбадривали деморализованного отца.

В семье вошло в обиход фискалить, выдавать друг друга. Разве лишь тетка (сестра матери) не прибегала к доносам, не говорила лишнего. Остальные чуть что, любая мелочь, – сразу упреки и жалобы. Бабушка не упускает случая: «Я вот уж расскажу матери-то, как ты (вы) хулиганил (хулиганили), что опять подрались...» или «А ну-ка, живо за водой (за хлебом, вынеси помойное ведро), не то матери скажу! Ну и ну, помошнички аховые!» Как наказание, так и поощрение, да вообще все, что можно услышать в этом доме, связано с лучшим куском, с пищей, с недорогой вещью (было бы о чем говорить), иного здесь не дождешься!

«... Работала я в органах, молодая совсем. Насмотрелась там всякого, была-то секретаршей. Бывало, заходишь в кабинет к нашему начальнику, а у него сидит какая-нибудь нахальная морда, развалился, как у себя дома, довольный такой. Послушаешь, о чем толкуют, – ну прямо возмущение берет! Я ж его знаю, бандюга отпетый, мы там все всё знали, а болтает по-свойски, как равный, о чем-нибудь сговариваются. Да иногда еще тут же и выпивка, и закуска какой нигде не найдешь... А я тогда откровенной, смелой была и на внешность считалась красивой, вон портрет-то той поры висит... На танцы в Дом офицеров всё бегали, так меня всегда нарасхват приглашали... Ну вот, значит, я смотрела-смотрела на это безобразие, да и заявила в очередной раз им прямо в глаза: что, мол, Вы делаете (говорю начальнику), его давно за решетку надо, а не любезничать с ним; если это не прекратится, я пойду доложу куда следует! Они в ответ только смеются. Уголовник, гляжу, ничего не боится (сажали только мелкую сошку, а те, кого принимали в кабинетах, крупные жулики, тех не трогали, те были большая сила, против них и улик-то не было, – творили, что хотели, и все чужими руками), он говорит: остра, мол, на язычок у тебя девочка, дерзит, но ничего из себя краля! Начальник этак прищурился на меня: мол, много себе позволяешь, помалкивай, иди-ка лучше сюда, к нам, погуляем. У обоих глазищи разгорелись, этот жулик, противный, облапать меня норовит... Оба кобели порядочные! Я еще больше возмутилась, не позволила с собой так обращаться... В общем, они пообещали меня приструнить. А я не смирилась. И однажды какой-то незнакомый тип устроил мне: я с лестницы летела вниз головой о-го! чуть не убила, сотрясение мозга заработала, травма

серьезная была... После этого пришлось уйти с работы. Не смогла ничего доказать, невозможно; все там друг за дружку, все шито-крыто. С тех пор вот мучаюсь с горлом, спазмы все время сводят, глотать трудно...»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.